М. ГОРЬКИЙ

РАССКАЗЫ

М. ГОРЬКИЙ

РАССКАЗЫ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р2
Г71

Текст печатается по изданию;
М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах,
т. II. М., Гослитиздат, 1951

Оформление художника
С. ДАНИЛОВА

На обложке иллюстрации художника
А. ТАРАНА

Г $\frac{4702010200\text{-}406}{028(01)\text{-}82}$ без объявл.

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря — сквозь веселый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн.

Осень. В белой пене Кодора кружились, мелькали желтые листья лавровишни, точно маленькие, проворные лососи, я сидел на камнях над рекою и думал, что, наверное, чайки и бакланы тоже принимают листья за рыбу и — обманываются, вот почему они так обиженно кричат, там, направо, за деревьями, где плещет море.

Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих — много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук. Ветви граба на том берегу уже голые и висят в воздухе разорванной сетью; в ней, точно пойманный, прыгает желто-красный горный дятел-расудук, стучит черным носом по коре ствола, выгоняя насекомых, а ловкие синицы и сизые поползни — гости с далекого севера — клюют их.

Слева от меня по вершинам гор тяжело нависли, угрожая дождем, дымные облака, от них ползут тени по зеленым скатам, где растет мертвое дерево самшит, а в дуплах старых буков и лип можно найти «пьяный мед», который, в древности, едва не погубил солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, свалив с ног целый легион железных римлян; пчелы делают его из цветов лавра и азалии, а «проходящие» люди выбирают из дупла и едят, намазав на лаваш — тонкую лепешку из пшеничной муки.

Этим я и занимался, сидя в камнях под каштанами, сильно искусанный сердитой пчелой,— макал куски хлеба в котелок, полный меда, и ел, любуясь ленивой игрою усталого солнца осени.

Осенью на Кавказе — точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы — они же всегда и великие грешники,— построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое, необъятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у тюркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и всё — снесли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

— Твое — от Твоих — Тебе.

...Я вижу, как длиннобородые седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их — живою тканью многообразных деревьев, и — безумно-красивым становится под их руками этот кусок благодатной земли.

Превосходная должность — быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред красотою!

Ну, да — порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью и тоска жадно сосет кровь сердца, но это — не навсегда дано, да ведь и солнцу часто очень грустно смотреть на людей: так много потрудилось оно для них, а — не удались людишки...

Разумеется, есть немало и хороших, но — их надобно починить или — лучше — переделать заново.

...Над кустами, влево от меня, качаются темные головы: в шуме волн моря и ропоте реки чуть слышно звучат человечьи голоса — это «голодающие» идут на работу в Очемчиры из Сухума, где они строили шоссе.

Я знаю их — орловские, вместе работал с ними и вместе рассчитался вчера; ушел я раньше их, в ночь, чтобы встретить восход солнца на берегу моря.

Четверо мужиков и скуластая баба, молодая, беременная, с огромным, вздутым к носу животом, испуганно вытаращенными глазами, синевато-серого цвета. Я вижу над кустами ее голову в желтом платке, она качается, точно цветущий подсолнечник под ветром. В Сухуме у нее помер муж — объелся фруктами. Я жил в бараке среди этих людей: по доброй русской привычке они толковали о своих несчастиях так много и громко, что, вероятно, их жалобные речи было слышно верст на пять вокруг.

Это — скучные люди, раздавленные своим горем, оно сорвало их с родной, усталой, неродимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь незнакомой природы — изумив — ослепила, а тяжкие условия труда окончательно пришибли этих людей. Они смотрели на все здесь, растерянно мигая выцветшими, грустными глазами, жалко улыбаясь друг другу, тихо говоря:

— А-яй... экая землища...

— Прямо — прет из нее.

— Н-да-а... а однако — камень ведь...

— Неудобная земля, надобно сказать...

И вспоминали о Кобыльем ложке, Сухом гоне, Мокреньком — о родных местах, где каждая горсть земли была прахом их дедов и все памятно, знакомо, дорого — орошено их потом.

Была там с ними еще одна баба — высокая, пря-

мая, плоская, как доска, с лошадиными челюстями и тусклым взглядом черных, точно угли, косых глаз.

Вечерами она, вместе с этой — в желтом платке,— уходила за барак и, сидя там на груде щебня, положив щеку на ладонь, склоня голову вбок, пела высоким и сердитым голосом:

За погостом...
    во зелены-их куста-ах —
На песочку...
    расстелю я белый плат,
Не дождусь ли...
    дружка милого мово...
Придет милый...
    поклонюся яй ему...

Желтая обычно молчала, согнув шею и разглядывая свой живот, но иногда вдруг, неожиданно, лениво и густо, мужицким сиповатым голосом вступала в песню рыдающими словами:

Ой-да милый...
    ой, миленок дорагой...
Не судьба мне...
    боле видетьси с табой...

В черной душной темноте южной ночи эти плачевные голоса напоминали север, снежные пустыни, визг метели и отдаленный вой волков...

Потом косоглазая баба заболела лихорадкой и ее снесли в город на носилках из брезента — она тряслась в них и мычала, словно продолжая петь свою песню о погосте и песочке.

...Ныряя в воздухе, желтая голова исчезла.

Я кончил свой завтрак, закрыл листьями мед в котелке, завязал котомку и не спеша двинулся вослед ушедшим, постукивая кизиловой палкой о твердый грунт тропы.

Вот и я на узкой, серой полосе дороги, справа качается густо-синее море; точно невидимые столяры строгают его тысячами фуганков — белая стружка, шурша, бежит на берег, гонимая ветром, влажным, теплым и пахучим, как дыхание здоровой женщины. Турецкая фелюга, накренясь на левый борт, скользит к Сухуму, надув паруса, как важный сухумский инженер надувал свои толстые щеки — серьезнейший человек. Почему-то он говорил вместо тише — «чише» и «хыть» вместо хоть.

— Чише! Хыть ты и боек, но я тебя моментально в полицию...

Любил он отправлять людей в полицию, и хорошо думать, что теперь его, наверное, уже давно, до костей обглодали червяки могилы.

...Идти — легко, точно плывешь в воздухе. Приятные думы, пестро одетые воспоминания ведут в памяти тихий хоровод; этот хоровод в душе — как белые гребни волн на море, они сверху, а там, в глубине,— спокойно, там тихо плавают светлые и гибкие надежды юности, как серебряные рыбы в морской глубине.

Дорогу тянет к морю, она, извиваясь, подползает ближе к песчаной полосе, куда вбегают волны,— кустам тоже хочется заглянуть в лицо волны, они наклоняются через ленту дороги, точно кивая синему простору водной пустыни.

Ветер подул с гор — будет дождь.

...Тихий стон в кустах — человечий стон, всегда родственно встряхивающий душу.

Раздвинув кусты, вижу — опираясь спиною о ствол ореха, сидит эта баба, в желтом платке, голова опущена на плечо, рот безобразно растянут, глаза выкатились и безумны; она держит руки на огромном животе и так неестественно страшно дышит, что весь живот судорожно прыгает, а баба, придерживая его руками, глухо мычит, обнажив желтые, волчьи зубы.

— Что — ударили? — спросил я, наклоняясь к ней,— она сучит, как муха, голыми ногами в пепельной пыли и, болтая тяжелой головою, хрипит:

— Уди-и... бесстыжий... ух-ходи...

Я понял, в чем дело,— это я уже видел однажды,— конечно, испугался, отпрыгнул, а баба громко, протяжно завыла, из глаз ее, готовых лопнуть, брызнули мутные слезы и потекли по багровому, натужно надутому лицу.

Это воротило меня к ней, я сбросил на землю котомку, чайник, котелок, опрокинул ее спиною на землю и хотел согнуть ей ноги в коленях — она оттолкнула меня, ударив руками в лицо и грудь, повернулась и, точно медведица, рыча, хрипя, пошла на четвереньках дальше в кусты:

— Разбойник... дьявол...

Подломились руки, она упала, ткнулась лицом в землю и снова завыла, судорожно вытягивая ноги.

В горячке возбуждения, быстро вспомнив все, что знал по этому делу, я перевернул ее на спину, согнул ноги — у нее уже вышел околоплодный пузырь.

— Лежи, сейчас родишь...

Сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и — стал акушером.

Баба извивалась, как береста на огне, шлепала руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпала землею страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми, налитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался и прорезывалась головка,— я должен был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы она не совала траву в свой перекошенный, мычащий рот...

Мы немножко ругали друг друга, она — сквозь зубы, я — тоже не громко, она — от боли и, должно быть, от стыда, я — от смущения и мучительной жалости к ней...

— Х-хосподи,— хрипит она, синие губы закушены и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на солнце, все льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и все тело ее ломается, разделяемое надвое.

— Ух-ходи ты, бес...

Слабыми, вывихнутыми руками она все отталкивает меня, я убедительно говорю:

— Дуреха, роди, знай, скорее...

Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать, и я кричу:

— Ну, скоре́й!

И вот — на руках у меня человек — красный. Хоть и сквозь слезы, но я вижу — он весь красный и уже недоволен миром, барахтается, буянит и густо орет, хотя еще связан с матерью. Глаза у него голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом лице, губы шевелятся и тянут:

— Я-а... я-а...

Такой скользкий — того и гляди уплывет из рук моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу — очень рад видеть его! И — забыл, что надобно делать...

— Режь...— тихо шепчет мать,— глаза у нее закрыты, лицо опало, оно землисто, как у мертвой, а синие губы едва шевелятся:

— Ножиком... перережь...

Нож у меня украли в бараке — я перекусываю

пуповину, ребеиок орет орловским басом, а мать — улыбается; я вижу, как удивительио расцветают, горят ее бездоиные глаза сиим огнем — темиая рука шарит по юбке, ища карман, и окровавленые, искусаиные губы шелестят:

— Н-ие... силушки... тесемочка кармаии... перевязать пупочек...

Достал тесемку, перевязал, оиа — улыбается все ярче; так хорошо н ярко, что я почти слепну от этой улыбки.

— Оправляйся, а я пойду, вымою его...

Оиа беспокойио бормочет:

— Мотри — тихонечко... мотри же...

Этот красный человечнще вовсе не требует осторожиости: он сжал кулак и орет, орет, словно вызывая иа драку с иим:

— Я-а... я-а...

— Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то блнжние иемедлеиио голову оторвут...

Особеиио серьезно и громко крикиул он, когда его впервые обдало пеииой волной моря, весело хлестнувшей обоих нас; потом, когда я стал иашлепывать грудь и спинку ему, он зажмурил глаза, забился н завизжал пронзительно, а волны, одна за другою, всё обливали его.

— Шуми, орловский! Кричи во весь дух...

Когда мы с иим воротились к матери, она лежала, сиова закрыв глаза, кусая губы, в схватках, извергавших послед, ио, несмотря на это, сквозь стоиы и вздохи, я слышал ее умирающий шепот:

— Дай... дай его...

— Подождет.

— Дай-ко...

И дрожащими иевернымн руками расстегивала кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, заготовлеииую природой иа двадцать человек детей, приложил к теплому ее телу буйного орловца, ои сразу все поиял и замолчал.

— Пресвятая, пречнстая,— вздрагивая, вздыхала мать и перекатывала растрепаииую голову по котомке с боку иа бок.

И вдруг, тихо крикнув, умолкла, потом сиова открылись эти доиельзя прекрасные глаза — святые глаза родительиицы,— синие, они смотрят в синее небо, в иих горит и тает благодарная, радостиая улыбка; подияв тяжелую руку, мать медлеино крестит себя и ребеика...

— Слава те, пречистая матерь божия... ох... слава тебе. .

Глаза угасли, провалилнсь, она долго молчит, едва дыша, и вдруг деловито, отвердевшим голосом сказала:

— Развяжи, пареиек, котомку мою...

Развязалн, оиа взгляиула на меия пристально, слабеиько усмехиулась, как будто — чуть заметно — румяиец блеснул на опавших щеках и потиом лбу.

— Отойди-ка...

— Ты очеиь-то не возись...

— Ну, ну... отойди...

Отошел недалеко в кусты. Сердце как будто устало, а в груди тихо поют какие-то славиые птнцы, и это — вместе с иемолчиым плеском моря — так хорошо, что можио бы слушать год...

Где-то иедалеко журчит ручей — точно девушка рассказывает подруге о возлюбленном своем...

Над кустами поднялась голова в желтом платке, уже повязаииом, как иадобно.

— Эй, эй, это ты, брат, рано завознлась!

Придерживаясь рукою за ветку кустариика, оиа сидела, точио выпитая, без кровинки в сером лице, с огромиыми сииими озерами на месте глаз, и умилеино шептала:

— Гляди — как спит...

Спал ои хорошо, ио, иа мой взгляд, ничем не лучше других детей, а если и была разиица, так оиа падала на обстановку: он лежал иа куче ярких осенних лнстьев, под кустом,— какие ие растут в Орловской губериии.

— Ты бы, мать, легла...

— Не-е,— сказала она, покачивая головою иа развииченной шее,— мне прибираться надобио да идти в энти самые...

— В Очемчиры?

— Во-от! Наши-те, поди, сколько верст ушагали...

— Да разве ты можешь ндти?

— А богородица-то? Пособит...

Ну, уж если оиа вместе с богородицей,— иадо молчать!

Она смотрит под куст на малеиькое, иедовольно надутое лицо, изливая из глаз теплые лучи ласкового света, облизывает губы и медленным движеиием рукн поглажнвает грудь.

Я развожу костер, прнлаживаю камии, чтобы поставить чайник.

— Сейчас я тебя, мать, чаем угощу...

— О? Напои-ка... ссохлось все в грудях-то у меня...

— Что ж это земляки бросили тебя?

— Они не бросилн — зачем! Я сама отстала, а оии — выпимши, ну... и хорошо, а то как бы я распросталась при ннх-то...

Взглянув на меия, оиа закрыла лицо локтем, потом, сплюнув кровью, стыдлнво усмехнулась.

— Первый у тебя?

— Первеиькой... А ты — кто?

— Вроде как бы человек...

— Конешно, человек! Женатый?

— Не удостоился...

— Врешь?

— Зачем?

Она опустила глаза, подумала.

— А как же ты бабьи дела знаешь?

Теперь — совру. И я сказал:

— Учился этому. Студент — слыхала?

— А как же! У нас у попа сыи старшой студеит тоже, на попа учится...

— Вот и я из эдаких. Ну, пойду за водой...

Жеищина иаклонила голову к сыну, прислушалась — дышит ли? — потом поглядела в сторону моря.

— Помыться бы мие, а вода — незнакомая... Что это за вода? И солеиа и горька...

— Вот ты ею и помойся — здоровая вода!

— Ой?

— Верно. И теплей, чем в ручье, а ручьи здесь — как лед...

— Тебе — знать...

Дремля, свесив голову на грудь, шагом проехал абхазец; малеиькая лошадка, вся из сухожилий, прядая ушамн, покосилась на иас круглым черным глазом — фыркнула, всадник сторожко взметиул башкой, в мохиатой меховой шапке, тоже взглянул в иашу сторону и снова опустил голову.

— Экн люди здесь несуразиые да страховидные,— тихо сказала орловка.

Я ушел. По камиям прыгает, поет струя светлой и жнвой, как ртуть, воды, в ией весело кувыркают-

ся осенние листья — чудесно! Вымыл руки, лицо, набрал воды полный чайник, иду и вижу сквозь кусты — женщина, беспокойно оглядываясь, ползет на коленях по земле, по камням.

— Чего тебе?

Испугалась, посерела и прячет что-то под себя, я — догадался.

— Дай мне, я зарою...

— Ой, родимый! Как же? В предбаннике надо бы, под полом...

— Скоро ли здесь баню выстроят, подумай!

— Шутишь ты, а я — боюсь! Вдруг зверь сьест... а ведь место надобно земле отдать...

Отвернулась в сторону и, подавая мне сырой, тяжелый узелок, тихо, стыдливо попросила:

— Уж ты — получше как, поглубже, Христа ради... жалеючи сыночка мово, уж сделай поверней...

...Когда я воротился, то увидал, что она идет, шатаясь и вытянув вперед руку, от моря, юбка ее по пояс мокра, а лицо зарумянилось немножко и точно светится изнутри. Помог ей дойти до костра, удивленно думая:

«Эка силища звериная!»

Потом пили чай с медом, и она тихонько спрашивала меня:

— Бросил ученье-то?

— Бросил.

— Пропился, что ли?

— Окончательно пропился, мать!

— Экой ты какой! А ведь я те помню, в Сухуме приметила, когда ты с начальником из-за харчей ругался; так тогда и подумалося мне — видно, мол, пропоица, бесстрашный такой...

И, вкусно облизывая языком мед на вспухших губах, все косилась синими глазами под куст, где спокойно спал новейший орловец.

— Как-то он поживет? — вздохнув, сказала она, оглядывая меня.— Помог ты мне — спасибо... а хорошо ли это для него, и — не знаю уж...

Напилась чаю, поела, перекрестилась, и, пока я собирал свое хозяйство, она, сонно покачиваясь, дремала, думала о чем-то, глядя в землю снова выцветшими глазами. Потом стала подниматься.

— Неужто — идешь?

— Иду.

— Ой, мать, гляди!

— А — богородица-то?.. Дай-ко мне его!

— Я его понесу...

Поспорили, она уступила, и — пошли, плечо в плечо, друг с другом.

— Кабы мне не трюхнуться,— сказала она, виновато усмехаясь, и положила руку на плечо мое.

Новый житель земли русской, человек неизвестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел. Плескалось и шуршало море, все в белых кружевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за полдень.

Шли — тихонько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына — глаза ее, насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви.

Однажды, остановясь, она сказала:

— Господи, боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы все — шла, все бы шла, до самого аж до краю света, а он бы, сынок,— рос, да все бы рос на приволье, коло материей груди, родимушка моя...

...Море шумит, шумит...

ЛЕДОХОД

На реке, против города, семеро плотников спешно чинили ледорез, ободранный за зиму слободскими мещанами на топливо.

Весна запоздала в том году — юный молодец Март смотрел Октябрем; лишь около полуден — да и то не каждый день — в небе, затканном тучами, являлось белое — по-зимнему — солнце и ныряло в голубых проталинах между туч, поглядывая на землю неприветливо и косо.

Уже была пятница страстной недели, а капе́ль к ночи намерзала синими сосулями в пол-аршина длиною; лед на реке, оголенной от снега, тоже был синеватый, как зимние облака.

Работали плотники — а в городе печально и призывно пела медь колоколов. Головы рабочих поднимались вверх, глаза задумчиво тонули в сероватой мгле, обнявшей город, и часто топор, занесенный для удара, нерешительно, на секунду останавливался в воздухе, точно боясь разрубить ласковый звон.

Там и тут на широкой полосе реки криво торчали сосновые ветви, обозначая дороги, полыньи и трещины во льду; они поднимались вверх, точно руки утопающего, изломанные судорогами.

Томительной скукой веет от реки: пустынная, прикрытая ноздреватой коростой, она лежит безотрадно прямою дорогой во мглистую область, откуда уныло и лениво дышит сырой, холодный ветер.

...Староста Осип, чистенький и складный мужичок, с правильной серебряной бородкой, аккуратно завитой в мелкие кольца на розовых щеках и гибкой шее,— всегда и всюду заметный, староста Осип покрикивает:

— Шевелись поживей, курицыны дети!

И обращается ко мне, насмешливо внушая:

— Наблюдающий,— ты чего в небе ковыряешь тупым твоим носом? Ты для какого дела приставлен, спросить тебя? Ты — от подрядчика, от Василь Сергеича? Стало быть — подобат тебе наяривать нас — работай живо, такой-сякой народ! Вот, для какого подвигу ты налажен, а ты — на свое дело моргаешь, дите мое, горький сухостой! Моргать тебе не положено, ты гляди в оба да прикрикивай, коли тебя вроде десятника до нас приспособили... ты — командуй, кукушкино яичко!

Он снова кричит на ребят:

— Не зевай! Лешие,— надобно сегодня конец делу положить али нет?

Сам он — первейший лентяй артели. Превосходно знает свое дело, умеет работать ловко, споро, со вкусом и увлечением, но — не любит утруждать себя и постоянно рассказывает волшебные истории.

Как раз в разгар работы, когда людн вопьются в нее и работают молча, сосредоточенно, вдруг плеиенные желаиием сделать все ладно н гладко,— Оснп заводит журчащнм голоском:

— А вот, братцы мон, был случай...

Две-три мииуты людн как будто не слушают его, самозабвенно тешут, строгают, рубят, а мягонькнй тенорок мечтательио течет н вьется, опутывая, связывая виимаине людей. Голубые ясные глаза Осипа сладко прищурены, он покручивает пальцамн курчавую бородку и, чмокая от удовольствия, ннжет слово за словом...

— Поймал он этого лния, положнл в пе́щер, ндет лесом — думает: «А и будет же уха у меня...» Только вдруг — ие зиай откуда — кричит голос жеиской, тонкой: «Елеся-а, Елеся-а...»

Длиииый костлявый мордвнн Леиька, по прозвнщу Народец,— молодой парень с маленькнмн изумлеииыми глазками,— опустил топор и стонт, открыв рот.

— А из пе́щера отвечают баснщем, густо: «Здеся-а!..» И в тую самую мииуту в пе́щере — хлобысь, лиИь оттедова — прыг и пошел, пошел назад, в омут свой...

Старик солдат Санявии, угрюмый пьяинца, страдающий одышкой н давно чем-то обиженный на всю жизнь, хрипнт:

— Как это он, линь, пошел посуху, ежелн он — рыба?

— А говорить рыбе назначено? — ласковенько спрашивает Осип.

Мокей Будырии, мужнк серый, с собачьнм лнцом — скулы н челюстн выдвиичуты вперед, а лоб запрокииут,— человек молчалнвый и иеприметный, не торопясь выпускает через иос трн любнмые свон слова:

— Это совсем верно...

Каждый раз, когда рассказывают что-иибудь чудесное, страшное, грязное или злое,— он негромко, но иепоколебимо увереино отзывается:

— Это совсем верно...

И словио трижды бьет меия в грудь жесткнм тяжелым кулаком.

Работа встала, потому что Яков Боев, косноязычный н кособокнй, тоже хочет рассказать что-то рыбье н уже начал, ио ему ннкто не верит, смеются иад его измятою речью; ои — божится, ругается, сердито сует долотом в воздух и, захлебываясь злой слюною, крнчнт, на смех всем:

— Однн — чего нн врн — прнинмают, а как я вам — правду,— ржете, галмаиы, пострелн вас в душу...

Все бросили работу н шумят, размахивая пустымн руками; тогда Осип снимает шапку, обнажая благообразиую серебряную голову, с плешью на темени, и строго кричит:

— Будя, эй! Позвонили, отдохиули, и — ладно!

— Сам завел,— хрнпнт солдат, поплевывая иа ладонн.

Осип пристает ко мне:

— Наблюдающий-и...

Мне кажется, что он сбнвает людей с работы своимн россказнями, нмея какую-то цель, но я ие понимаю — хочет лн он болтовней прнкрыть свою леиь или дать людям отдых? Перед подрядчнком Осип держнтся льстиво, ннзкопоклонно,— «ломает дурака» перед ннм и каждую субботу умеет выклянчнть у него «иа чаишко» для артели.

Вообще ои человек «артельиый», но старики его не любят, считают шутом, бездельииком н отиосятся к нему иеуважительио, да и молодежь, любя слушать его болтовию, смотрит иа него несерьезно, с недоверием, плохо скрытым и часто злым.

Мордвии, парень грамотиый, с которым я говорю иногда «по душам», одиажды, на мой вопрос — что за человек Оснп, сказал, усмехаясь:

— Не зиай... пес его знает... так себе — иичего...

И, подумав, добавил:

— Мнхайло, который помер, резкнй был мужнк, умиый,— так он раз лаялся с им, с Осипом-то, да н говорнт: «Али, говорнт, ты человек? Работннк в тебе подох, а хозяин — ие родился, так, говорнт, ты н будешь всю жнзнь болтаться на углу, как забытый отвес на нитке...» Вот это, поди-ка, верно про иего...

И еще подумав, мордвии беспокойио договорнл:

— А так ои иичего, добрый человек...

У меня глупейшая позиция среди этих людей: пятнадцатнлетннй пареиь, я прнставлен подрядчиком — записывать расход матернала, следить, чтобы плотннки ие воровали гвоздей, не таскали в кабак досок. Гвозди онн воруют, иимало ие стесняясь моим присутствием, н все усердно показывают мне, что я на работе среди них — человек лншннй, иеприятиый. И если кому-ннбудь представляется случай незаметно задеть меня доскою нли иным способом прнчинить мне малеиькую обиду — оин это делают очень умело.

Мие с ннми иеловко, стыдно; я хочу сказать нм что-то, что помирнло бы их со миою, но ие нахожу нужиых слов, н меия давнт угрюмое чувство моей ненужности.

Каждый раз, когда я запнсываю в киижку количество взятого материала,— Осип ие торопясь подходит н спрашнвает:

— Нарнсовал? Ну-кось, покажь...

Смотрнт на запнсь прнщуря глаза н говорнт неопределенно:

— Мелко пишешь...

Он умеет читать только по печатиому, пншет тоже печатными буквами церковиого устава — граждаиская пропнсь иепоиятна ему.

— Это — корытцем-то — какое слово?

— Добро.

— Добро-о! Ишь петля какая... А что иаписано строкой этой?

— Досок вершковых, девятиаршииных, пять.

— Шесть.

— Пять.

— Как же пять? Вот, солдат перерезал одну...

— Это ои иапрасио, иадобностн ие было...

— Как же не было? Он половннку в кабак сиес...

Спокойио глядя в лнцо мие голубымн, как васильки, глазамн, с веселой усмешечкою в ннх, ои навивает на палец колечкн бороды н неотразнмо бесстыдно говорит:

— Рнсуй шесть, право! Ты гляди, кукушкиио яичко,— мокро, холодно, работенка тяжелая — надобно людям побаловать душеньку, винцом-то ее обогреть? Ты — не строжнсь, бога строгостью ие подкупишь...

Говорнт он долго, ласково, кудревато, слова сыплются иа меия, точио опилкн, я как бы виутренне слепну, и молча показываю ему переправленную цифру.

— Ну, вот — это верио! И чнфра — красивше, вои какой купчнхой сидит, пузатенька, добреиька...

Я вижу, как победоносно он рассказывает плотникам о своем успехе, знаю, что они все презирают меня за уступчивость, мое пятнадцатилетнее сердце обиженно плачет, а в голове вертятся скучные, серые мысли:

«Все это странно и глупо. Почему он уверен, что я снова не переправлю 6 на 5 и не скажу подрядчику, что они пропили доску?»

Однажды они украли два фунта пятивершковых костылей и железные скобы.

— Слушай,— предупредил я Осипа,— я это запишу!

— Вали! — согласился он, играя седыми бровями.— Что, в сам-деле, за баловство? Вали, рисуй их, маминых детей...

И закричал ребятам:

— Эй, шалыганы, костыли и скобы на штраф вам записаны!..

Солдат угрюмо спросил:

— Почто?

— Проштрафились, стало быть,— спокойно пояснил Осип.

Плотники заворчали, косо поглядывая на меня, а у меня не было уверенности, что я сделаю то, чем пригрозил, а если сделаю — так это будет хорошо.

— Уйду от подрядчика,— сказал я Осипу,— ну вас всех к чертям! С вами вором станешь.

Осип подумал, погладил бороду, сел рядом со мною плечом и сказал тихонько:

— Это — правильно!

— Что?

— Надо уйти. Какой ты десятник, какой приказчик? В должностях этих надобно понимать, что есть имущество, собачий характер надобен тут, чтоб охранять хозяйново, как свою родную шкуру, маминно наследство... А ты для этого дела — молод пес, ты не чувствуешь, чего имущество требует. Если бы сказать Василь Сергеичу, как ты нам мирволишь,— он бы те в тую самую одну минуту по шее,— вполне решительно! Потому ты для него — не к доходу, а на расход, человек же должен служить доходно хозяину — понял?

Свернув папиросу, он дал ее мне.

— Покури, легче будет в мозге. Кабы у тебя, крандаш, не такой совкий и спорный характер был — я бы тебе-тко сказал: иди в монахи! Ну — характер у тебя для этого неподходящий, топорный характер, неотес ты в душе, ты, буде, и самому игумну не сдашь. С эдаким характером в карты играть невозможно! А монах — он наподобие галки: чье клюет — не знает, корни дела его не касаются, он зерном сыт, а не корнем. Все это я тебе говорю от сердца, как вижу, что человек ты чужой делам нашим — кукушкино яичко в не ее гнезде...

Снял шапку — он это делал всегда, когда хотел сказать что-либо особенно значительное,— поглядел в серое небо и громко, покорно выговорил:

— Дела наши — воровские пред господом, и спасенья нам не буде от него...

— Это совсем верно,— отозвался Мокей Будырин, точно кларнет.

С той поры кудрявый, сереброголовый Осип с ясными глазами и сумеречной душою стал мне приятно интересен, между нами зародилось нечто подобное дружбе, но я видел, что доброе отношение ко мне чем-то смущает его: при других он на меня не смотрит, васильковые зрачки светлы и пусты, они суетливо бегают, дрожат, и губы человека кривятся лживо, неприятно, когда он говорит мне:

— Эй, поглядывай в оба, оправдывай хлеб, а то вон — солдат гвозди жует, прорва...

А один на один со мною он говорит поучительно и ласково, в глазах его светится-играет умненькая усмешечка, и смотрят они голубыми лучами прямо в мои глаза. Слова этого человека я слушаю внимательно, как верные, честно взвешенные в душе, хотя иногда он говорит странно.

— Надо быть хорошим человеком,— сказал я однажды.

— А — конечно! — согласился он, но тотчас же, усмехнувшись, спрятал глаза, тихонько говоря: — Однако — как понимать хорошего человека? Я так думаю, что людям-то наплевать на хорошесть, на праведность твою, ежели она — не к добру им; нет, ты окажи им внимание, ты всякому сердцу в ласку будь, побалуй людей, потешь... может, когда-нибудь и тебе это хорошо обернется! Конечно — споров нету — очень приятное дело, будучи хорошим человеком, на свою харю в зеркало глядеть... Ну, а людям — я вижу — все едино как: жулик ты али святой — только до них будь сердечней, до них добрее будь... Вот оно — что всем надо!..

Я очень внимательно присматриваюсь к людям, мне думается, что каждый человек должен возвести и возводит меня к познанию этой непонятной, запутанной, обидной жизни, и у меня есть свой беспокойный, неумолкающий вопрос:

«Что такое человечья душа?»

Мне кажется, что иные души построены, как медные шары: укрепленные неподвижно в груди, они отражают все, что касается их, одной своей точкой,— отражают неправильно, уродливо и скучно. Есть души плоские, как зеркала,— это все равно как будто нет их.

А в большинстве своем человечьи души кажутся мне бесформенными, как облака, и мутно-пестрыми, точно лживый камень опал,— они всегда податливо изменяются, сообразно цвету того, что коснется их.

Я не знаю, не могу понять, какова душа благообразного Осипа,— неуловима она умом.

Об этих делах я и думаю, глядя за реку, где город, прилепившийся на горе, поет колоколами всех колоколен, поднятых в небо, как белые трубы любимого мною органа в польском костеле. Кресты церквей — точно тусклые звезды, плененные серенькими небом, они — скучая — сверкают и дрожат, как бы стремясь вознестись в чистое небо за серым пологом изодранных ветром облаков; а облака бегут и стирают тенями пестрые краски города,— каждый раз, когда из глубоких голубых ям, между ними, упадут на город лучи солнца, обольют его веселыми красками, они тотчас, закрыв солнце, побегут быстрей, сырые тени их становятся тяжелее, и все потускнеет, лишь минуту подразнив радостью.

Дома города — точно груды грязного снега, земля под ними черная, голая, и деревья садов — как бугры земли, тусклый блеск стекол в серых стенах зданий напоминает о зиме, и надо всем вокруг тихо стелется разымчивая грусть бледной северной весны.

Мишук Дятлов, молодой белобрысый парень, с заячьей губою, широкий, нескладный, пробует запеть:

Она пришла к нему поутру,
А он скончался в тую ночь...

— Эй ты, курвин сын! — кричит на него солдат.— Али забыл, какой седни день?

Боев тоже сердится — грозит Дятлову кулаком и свистит:

— С-собачья душа!

— Народ у нас лесной, долголетний, жилистой,— говорит Осип Будырину, сидя верхом на вершине ледореза и прищуренным глазом измеряя откос. — Выпусти конец бруса на вершок левей — так!.. А ежели просто сказать — дикой народ! Однова — едет архирей, они — к нему, окружили, пали на коленки, плачутся: заговори-де нам, преосвященное владыко, волков, одолели нас волки! Кэ-эк он их — «Ах, вы, говорит, православные христиане, а? Да я, говорит, всех вас строжайшему суду предам!» Очень изгневался, плюет даже в морды им. Старенький такой был, личность добрая, глазки слезятся...

Сажен на двадцать ниже ледорезов матросы и босяки окалывают лед вокруг барж; хряско бьют пешни, разрушая рыхлую, серую корку реки, маячат в воздухе тонкие шесты багров, проталкивая под лед вырубленные куски его; плещет вода; с песчаного берега доносится говор ручьев. У нас шаркают рубанки, свистит пила, стучат топоры, загоняя железные скобы в желтое, гладко выструганное дерево,— и во все звуки втекает колокольный звон, смягченный расстоянием, волнующий душу. Кажется, что серый день всею своею работою служит акафист весне, призывая ее на землю, уже обтаявшую, но голую и нищую...

Кто-то орет простуженным голосом:

— Немца-а позо-ови-и! Народу не хвата-ат...

С берега откликаются:

— Где он?

— В кабаке, гляди-и...

Голоса плывут в сыром воздухе тяжело, растекаются над широкой рекою уныло.

Работают торопливо, горячо, но плохо, кое-как; всех тянет в город, в баню и в церковь, особенно беспокоился Сашок Дятлов, такой же, как брат, белобрысый, точно в щелоке вареный, но — кудрявый, складный и ловкий. То и дело поглядывая вверх по течению, он тихонько говорит брату:

— Чу, будто трешшит?

Ночью была «подвижка» льда, речная полиция уже со вчерашнего утра не пускает на реку лошадей, по линейкам мостков, точно бусы, катятся редкие пешеходы, и слышно, как доски, прогибаясь, смачно шлепают по воде.

— Потрескивает,— говорит Мишук, мигая белыми ресницами.

Осип, глядя из-под ладони на реку, обрывает его.

— Это стружка в башке у тебя сохнет-скрипит. Работай знай, ведьмин сын! Наблюдающий — погоняй их, что ты в книжку воткнулся?

Работы оставалось часа на два, уже весь горб ледореза обшит желтым, как масло, тесом, осталось только наложить толстые железные связи. Боев и Санявин вырезали гнезда для них, но — не угодили, вышло узко — полосы не входили в дерево.

— Мордва слепокурая,— кричал Осип, постукивая себя ладонью по шапке.— Али это работа?

Вдруг, откуда-то с берега, невидимый голос радостно завыл:

— По-оше-ол... о-го-го-о!

И как бы сопровождая этот вой, над рекою потек неторопливый шорох, тихий хруст; лапы сосновых вешек затрепетали, словно хватаясь за что-то в воздухе, и матросы, босяки, взмахивая баграми, шумно полезли по веревочным трапам на борта барж.

Было странно видеть, как много явилось на реке людей: они точно выпрыгнули из-подо льда и теперь метались взад-вперед, как галки, вспугнутые выстрелом, прыгали, бежали, тащили доски и шесты, бросали их и снова хватали.

— Собирай струмент! — крикнул Осип.— Живо, так вашу... на берег!

— Вот те и светло Христово воскресенье! — горестно воскликнул Сашок.

Казалось, что река неподвижна, а город вздрогнул, покачнулся и вместе с горою под ним тихо всплывает вверх по реке. Серые песчаные осыпи, в десятке сажен перед нами, тоже зашевелились и потекли, отдаляясь от нас.

— Беги,— крикнул Осип, толкнув меня,— чего разинул рот?

Жуткое ощущение опасности ударило в сердце; ноги, почувствовав, что лед уходит из-под них, както сами собою вскинулись, понесли тело на песок, где торчали голые прутья ивняка, обломанные зимними вьюгами,— там уже валялись Боев, солдат, Будырин и оба Дятловы. Мордвин бежал рядом со мною и сердито ругался, а Осип — шагал сзади, покрикивая:

— Не лай, Народец...

— Да ведь как же, дядя Осип...

— Так же все, как было.

— Застряли мы тут суток на двое...

— И посидишь.

— А праздник?

— Без тебя отпразднуют в сем году...

Солдат, сидя на песке, раскуривал трубку и хрипел:

— Струсили... три пятка сажен места до берегу, а вы — бежать сломя голову...

— Ты первый побег,— сказал Мокей.

Но солдат продолжал:

— А чего испугались? Христос-батюшка и то помер...

— Чать, он воскрес опосля того,— обиженно пробормотал мордвин, а Боев заорал на него:

— Ты — молчи, щенок! Твое дело рассуждать про то? Воскрес! Седни — пятница, а не воскресение!

В голубой пропасти между облаков вспыхнуло мартовское солнце, лед засверкал, смеясь над нами. Осип поглядел из-под ладони на опустевшую реку и сказал:

— Встала... Только это — ненадолго...

— Отрезало нас от праздника,— угрюмо проговорил Сашок.

Безбородое, безусое лицо мордвина, темное и угловатое, как неочищенная картофелина, сердито сморщилось, он часто мигал и ворчал:

— Сиди тут... Ни хлеба, ни денег... У людей — радость, а мы... Жадностям служим, как собаки все одно...

Осип, не отводя глаз от реки и, видимо, думая о чем-то другом, говорит, словно сквозь сон:

— Тут вовсе не жадности, а — надобности! Быки-ледорезы — для чего? Охранять ото льда баржи и все такое. Лед — глупый, он навалится на караван, и — прощай имущество...

— А — наплевать... наше оно, что ли?

— Толкуй с дураком...

— Чннилн бы раиьше...

Солдат скорчнл лнцо в страшиую гримасу н крикиул:

— Цыц, мордва народская!

— Встала,— повторил Осип.— М-да...

На караване орали матросы, а с рекн веяло холодом и злою, подстерегающей тншнной. Узор вешек, раскннутый по льду, изменнлся, и все казалось нзмеиеиным, полным напряжеиного ожидання.

Кто-то из молодых парией спросил, тихонько и робко:

— Дядя Оснп — как же?

— Чего? — дремотио отозвался он.

— Так нам и сидеть тут?

Боев, явно издеваясь, гиусаво заговорил:

— Отлучнл господь вас, ёрииков, от святого праздника своего, что-о?

Солдат поддержал товарнща — вытяиул руку с трубкой к реке и, посмеиваясь, бормотал:

— Охота в город? Иднте! И лед пойдет. Авось утопиете, а то — в полицию возьмут... на праздник-то — хорошо!..

— Это совсем верио,— сказал Мокей.

Солнце спряталось, река потемиела, а город стало видно ясией — молодежь уставилась иа него серднтыми и грустиыми глазами н замолчала, замерла.

Мие было скучио н тяжко, как всегда бывает, когда виднщь, что все вокруг тебя думают разно н иет едииого желаиия, которое могло бы связать людей в целостиую, упрямую силу. Хотелось уйти от иих н шагать по льду одному.

Осип, точно вдруг проснувшись, встал на ногн, сиял шапку и, перекрестясь иа город, сказал очень просто, спокойно н властио:

— Ну-кось, ребята, айда с богом...

— В город? — воскликиул Сашок, вскакнвая.

Солдат, не двигаясь, уверенио заявнл:

— Потоием!

— Тогда — оставайся.

И, оглянув всех, Осип крикиул:

— Ну, шевелись, живо!

Все подиялись, сбнлись в кучу; Боев, поправляя инструмеиты в пéщере, заиыл:

— Сказаио — иди, стало быть — иадо идти! Кем прнказано — того н ответ...

Осип словно помолодел, окреп: хнтровато-ласковое выражеиие его розового лнца слнняло, глаза потемнелн, глядя строго, деловито; леиивая, развалнстая походка тоже исчезла — он шагал твердо, уверенио.

— Каждый бери по доске н держи ее поперек себя — в случае — не дай бог — провалится кто,— коицы доски на лед лягут — поддержка! И трещииы переходнть... Веревка — есть? Народец, дайкось мне ватерпас... Готовы? Ну — я вперед, а за мной — кто всех тяжеле? Ты, солдат! Потом — Мокей, мордвин, Боев, Мншук, Сашок,— Макснмыч, всех легче, ои позади... Сымай шапки, молись богородице! Вот и солнышко-батюшко встречу иам...

Дружио обиажилнсь лохматые, седые и русые головы, солице глянуло иа иих сквозь тоикое белое облачко и спряталось, точио не желая возбуждать надежд.

— Айда! — сухо, иовым голосом сказал Осип.— С богом! Глядите на ноги мне. Не напирай в спину, держнсь друг ко другу не ближе сажия, а чем дале — то и лучше! Пошел, деткн!

Сунув шапку за пазуху, держа в руке ватерпас, Осип, как-то осторожно н ласково шаркая ногами, сошел на лед н тотчас, за спнной у иего, иа берегу, раздался отчаянный крнк:

— Ку-уда, бараны, ма-а...

— Шагай, не оглядывайсь! — звонко командовал вожатый.

— Наза-ад, дьяво-олы...

— Айда, ребята, бога помня! В гости иа праздннк он нас не позовет...

Свнстел полнцейскнй свнсток, а солдат громко ворчал:

— Во-от, ерои, так вашу... Затеяли дело! Теперь депеша будет дана тому берегу в полнцию... Колн не утопнем — в часть, клопам нас... Я на себя ответ не беру...

Бодрый голос Оснпа вел людей за собою, точио на веревке:

— Гляди под ногн зорче!..

Шли иаискось, протнв течення, н мне, заднему, хорошо видно было, как маленькнй аккуратный Осип, с белой, точно у зайца, головою, ловко скользнт по льду, почтн не поднимая ног. За иим, гуськом, как бы наннзанные на невнднмую инть, тянутся, покачнваясь, шесть темных фигур, иногда рядом с ними явятся тенн нх, лягут под ногн им и стелются по льду. Головы опущеиы, точио люди идут с горы н боятся упасть, оступившись.

Сзадн кричат всё гуще — видимо, сбежался народ большою толпой, слов уже нельзя разобрать, слышен только неприятный гул.

Это осторожное шествне стаиовится для меня механической, скучной работой; я привык ходить быстро н теперь погружаюсь в то полусонное настроенне, когда душа как бы пустеет, перестаешь думать о себе, уходишь от себя н в то же время все видишь особенно четко, слышишь особеино ясно. Под ногами сниевато-серый, свннцовый лед, изъеденный водою, его рассеяииый блеск ослепляет глаза. Кое-где лед лопнул, выгорбнлся, истерт движеннем в мелкие куски, лежнт кучамн, ноздреватый, как пемза, н острый, как бнтое стекло. Сниие трещииы, холодно улыбаясь, ловят ногу. Шлепают широкие подошвы, иадоедно звучат голоса Боева н солдата,— оба они — как две дудочки в одних устах.

— Я ответа не беру...

— Конечно, и я...

— Одному дозволено распоряжаться, а другой, может, в тыщу разов умнее...

— Разве умом жнвут у иас? У нас — глоткой жнвут все...

Оснп заткнул полы полушубка за пояс, его ноги, в серых штанах солдатского сукна, шагают легко и гнбко, точно пружнны. Идет он так, как будто перед иим все время вертнтся кто-то, видимый только ему, вертнтся и мешает ндтн прямо, кратчайшим путем, а Оснп борется с ним, стараясь обойти его, ускользнуть, подается вправо н влево, нногда круто повертывает назад н так все время таицует, описывая по льду петли и полукружня. Голос его звучит немолчно, певуче, н очень приятно слышать, как хорошо слнвается ои со звоном колоколов...

Уже подходнли к середиие четырехсотсажеииой полосы льда, когда вверху рекн зашуршало зловещнм шорохом, в ту же минуту лед поплыл из-под иог у меня, я покачнулся н, не устояв, припал иа колено, уднвленный. Но тотчас же, как только я взгляиул вверх по реке, испуг схватил меня за горло, лишнл

голоса, потемнил зрение — серая корка льда ожила, горбилась, на ровной поверхности вспухали острые углы, в воздухе растекался странный хруст — точно кто-то тяжелою ногой шел по битому стеклу.

С тихим свистом около меня струилась вода, трещало дерево, взвизгивая, как живое, орали люди, сбиваясь кучей, и в глухом жутком гуле, размешивая его, звенел голос Осипа:

— Разойдись... расходись — держись порознь, божьи дети... Пошла матушка, пошла-а! Веселей, ребятки! Вот — пошла-а...

Он прыгал, словно на него осы напали, и, держа саженный ватерпас, как ружье, тыкал им вокруг себя, точно сражаясь с кем-то, а мимо него, вздрагивая, плыл город. Лед подо мною заскрежетал, мелко ломаясь, на ноги мне хлынула вода, я вскочил, слепо бросился к Осипу.

— Куда? — замахнувшись ватерпасом, крикнул он.— Стой, черт!

Показалось, что это не Осип,— лицо странно помолодело, все знакомое стерлось с него, голубые глаза стали серыми, он словно вырос на пол-аршина. Прямой, как новый гвоздь, плотно сжав ноги, вытягиваясь вверх, он кричал, широко открыв рот:

— Не крутись, не сбивайся кучей — башки поразобью!

И снова замахнулся на меня ватерпасом.

— Ты — куда?

— Потонем,— тихонько сказал я.

— Цыц! Молчи...

Но, оглянув меня, он прибавил тише и мягче:

— Потонуть и дурак сумеет, а ты вот выберись... ты — вылезь!

И снова залился, закричал ободряющие слова, выгибая грудь, закинув голову.

Лед потрескивал и хрустел, неспешно ломаясь, нас медленно сносило мимо города; какая-то силища проснулась в земле и растягивает берег: часть его — ниже нас — неподвижна, а та, что против, тихо отходит вверх по реке, и скоро земля разорвется.

Это жуткое, медленное движение лишало чувства связи с землею: все уходило, щемя грудь тоской, ослабляя ноги. В небе тихо плыли красные облака, изломы льда, отражая их, тоже краснели, точно напрягаясь, чтобы достичь меня. Ожила вся огромная земля к весенним родам, потягивается, высоко вздымая лохматую влажную грудь, хрустят ее кости, и река в мощном мясе земли,— словно жила, полная густой, кипучей крови.

Угнетало обидное ощущение своей малости и бессилия в этом уверенном, спокойном движении масс, а в душе,— на обиде,— растет, разгорается дерзкая человечья мечта: протянуть бы руку, властно положить ее на гору, на берег и сказать:

«Стой, пока я не дойду до тебя!..»

Грустно вздыхает гулкая медь колоколов, но — я помню, что через сутки, в ночь, они грянут весело, возвещая воскресение.

Дожить бы до этого звона!..

...Семь темных фигур качались в глазах, подпрыгивая на льду; они размахивали досками, точно гребли в воздухе, а впереди их вьюном вертится старичок, похожий на Николая-чудотворца, и немолчно звенит его властный голос:

— Не зева-ай!..

Река стала шероховатой, ее живой хребет вздрагивал и извивался под ногами, напоминая о ките из «Конька-Горбунка», и все чаще из-под чешуи льда выплескивалось жидкое тело реки — мутная, холодная вода, жадно облизывая ноги людей.

Люди шли по узкой жердочке над глубоким оврагом. Тихий, зовущий плеск воды вызывал представление о бездонной глубине, о том, как бесконечно долго будет опускаться тело в эту холодную, тесную массу, как ослепнешь в ней и замрет сердце. Вспоминались утопленники, осклизлые черепа, вздутые лица со стеклянными, выпученными глазами, растопыренные пальцы вспухших рук, отмокшая на ладонях кожа, точно тряпка...

Первым провалился под лед Мокей Будырин; он шел впереди мордвина, как всегда молчаливый, отсутствующий, шел спокойнее всех и вдруг — точно его дернули за ноги — исчез, на льду осталась только его голова и руки, вцепившиеся в доску.

— Помога-ай! — завыл Осип.— Не толпись все, один, двое — помоги!

А Мокей, отфыркиваясь, говорил мордвину и мне:

— Отойдите, парни... я сам... ничего...

Выбрался на лед и, отряхиваясь, сказал:

— Пострели те горой, эдак-то, гляди, и в самделе потопнешь...

Теперь, щелкая зубами и облизывая большим языком мокрые усы, он особенно стал похож на большого, смирного пса.

Мимолетно вспомнилось, как он, месяц тому назад, отсек себе топором напрочь сустав большого пальца левой руки — поднял бледный обрубок с посиневшим ногтем и, разглядывая его темным взглядом непонятных глаз, виновато, тихонько говорил:

— Сколько разов я его, чудашку, портил, прямо — счету нет!.. Вывихнут он у меня, неправильно действовал... Теперь — схороню...

Тщательно завернул обрубок в стружку, положил в карман и тогда уже перевязал пораненную руку.

За ним выкупался Боев — казалось, он сам нырнул под лед и тотчас закричал неистово:

— А, б-батюшки, тону, смертынька, братцыньки, дайте помощь...

Он так бился в судорогах страха, что вытащили его с трудом и в хлопотах около него едва не погиб мордвин, окунувшись с головою в воду.

— Вот попал бы к чертям ко всенощной,— выбравшись на лед и сконфуженно усмехаясь, сказал он, теперь еще более тонкий и угловатый.

Через минуту снова провалился и завизжал Боев.

— Не ори, Яшка, козлиная душа! — кричал Осип, грозя ему ватерпасом.— Нашто пугаешь людей? Я те задам! Распояшься, ребята, карманы вывороти, ловчей будет...

На каждом десятке шагов открывались, хрустя и брызгая мутной слюною, зубастые челюсти, сине острые зубы хватали ноги: казалось, река хочет всосать в себя людей, как змея всасывает лягушат. Намокшая обувь и одежда, мешая прыгать, тянули книзу; все стали скользкими, точно облизанные, неуклюжими и немыми, двигались тяжко, медленно и покорно.

Но Осип словно заранее сосчитал трещины во льду и такой же мокрый, как все, скакал зайцем со льдины на льдину; перескочит, остановится на секунду и, осматриваясь, звонко кричит:

— Гляди, как надо, эй!

Он играл с рекою: она его ловила, а он, маленький, увертывался, умея легко обмануть ее движе-

иия, обойти иеожиданиые западии. Казалось даже, что это ои управляет ходом льда, подгоияя под иоги нам большие, прочиые льдины.

— Не падай духом, божьи детки, э-эй!

— Ай да дядя Осип! — тнхо восторгался мордвии.— Ну — человек!.. Это действительио — человек...

Чем ближе к берегу, тем более измельчен, нстерт лед и все чаще проваливались люди. Город уже почти проплыл мимо, скоро иас вынесет на Волгу, а там лед еще не троиулся и нас подтяиет под него.

— Пожалуй — потоием,— тихонько сказал мордвии, поглядывая налево в сииюю муть вечера.

Но вдруг — точио пожалев нас — огромиая чка уперлась концом в берег, полезла ие иего, ломаясь, хрустя, и встала.

— Беги-и! — яростио закричал Оснп.— Валяй во всю мочь!..

Прыгиул на чку, поскользнулся, упал и, сндя иа краю льдииы, заплескиваемый водою, пропустнл всех мимо себя — пятеро убежалн иа берег, толкаясь, обгоняя друг друга. Мордвин и я остановилнсь, желая помочь Осипу.

— Бегнте, щеики свиинячьи, ну!..

Лицо у иего было сииее и дрожало, глаза погаслн, рот страино открылся.

— Вставай, дядя...

Ои опустил голову.

— Ногу я сломил будто... не встать...

Мы подияли его, понесли, а ои, закииув руки иа шеи иам, ворчал, щелкая зубами:

— Утопнете, лешманы... ну, слава те богу, не попустил, батюшко... Глядите — тронх не сдержит, шагай осторожио! Выбирай, где лед снегом ие покрыт, там ои тверже... бросить бы вам меня!..

Загляиул прищуренным глазом в лнцо мне и спросил:

— А киижка-то грехов наших, поди, вовсе размокла у тебя, пропала, а?

Когда мы сошли с куска льдины, иавалнвшегося иа берег, раздавив в щепы какую-то барку, вся часть льда, лежавшая в воде, хрустиула и, покачиваясь, захлебываясь, поплыла.

— Ишь ты,— одобрительно сказал мордвин,— поияла дело!

Мокрые, иззябшие и веселые, мы иа берегу, в толпе слободских мещан; Боев н солдат уже ругаются с ними, мы кладем Осипа на какие-то бревна, ои весело кричнт:

— Ребя, а книжка-то решилась, размокла ведь...

Эта кинжка — точно кирпич за пазухой у меия; иезаметио выиув, я швыряю ее далеко в реку, н оиа шлепается о темную воду, как лягушка.

Дятловы помчались в гору — в кабак за водкой, бегут, колотят друг друга кулакамн н орут:

— Р-ря!

— Их ты-н!..

Высокий старик с бородою апостола и глазами вора убеждеиио говорит иад монм ухом:

— А за то, что вы взбулгачили народ мирный, надо бы вас, аиафемов, по мордам...

Боев, переобуваясь, кричит:

— Чем мы вас потревожнли?

— Христиане тоиут,— ворчит солдат, еще более охрипший,— а вы что делали?

— А что иам делать?

Осип лежит на земле, вытяиув ногу, и, щупая полушубок дрожащими руками, жалуется тнхоиько:

— Ах, мать честная, как измочился... Спорчена одежа на иет... а — года ие носнл!..

Стал ои маленькнй, сморщнлся и слвио тает, лежа иа земле, становясь все меньше.

Вдруг, приподнявшнсь, он сел, охнул и злым, высоким голосом заговорнл:

— Понесли вас бесн, дураков,— в баию, в церковь, вишь ты! Чертогоны!.. Туда же... Не проживет бог без вас свой праздиик... На смерть иаткиулись было... одежу всю спортнлн, чтоб вас ра́зорвало...

Все переобувались, отжималн одежу, устало сопя, охая, переругиваясь с мещанами, а он кричал все горячее:

— На-ко,что удумали,окаянные! Баня нм надобна... вот,— полицню бы, оиа бы вам показала баию...

Кто-то из мещан услужливо сказал:

— За полицней послаио...

— Ты — что? — закричал Боев Осипу.— Ты зачем притворяешься?

— Я?

— Ты!

— Стой! Это как же?

— Кто подбил народ, чтоб идти, а?

— Кто?

— Ты!

— Я?

Оснп задергался, точио в судороге, н сорвавшимся голосом повторнл:

— Я-а?

— Это совсем верно,— спокойно и виятио сказал Будырин.

Мордвнн тоже подтвердил, тихоиько, печально:

— Ей-богу, ты, дядя Оснп!.. Ты забыл...

— Коиешно, ты заводчнк делу,— угрюмо и веско крнкнул солдат.

— За-абыл он! — яростио кричал Боев.— Как же, забыл! Нет, это он пробует, иельзя ли свою вину иа чужую шею хомутом одеть, знаем мы!

Осип замолчал н, прищурив глаза, оглядел мокрых, полуодетых людей...

Потом, странно всхлипиув — смеясь или плача,— дергая плечамн и разводя руки, стал бормотать:

— А ведь — верно... и впрямь — моя затея-то... скажи иа милость!

— То-то! — победоиосио крикнул солдат.

Глядя на реку, кипевшую, как просяиая каша, Оснп, сморщив лнцо н виновато спрятав глаза, продолжал:

— Прямо — затмение... ах ты, батюшки! И как ие утоиули? Даже понять нельзя... Фу ты, господн!.. Ребята... вы — того... не сердитесь, праздника ради... простите уж!.. Помутилось в уме у меня, что лн-то... Верио: я подбил... экой старый дурак...

— Ага? — сказал Боев.— А как бы я — утоп, чего бы ты говорнл?

Мие казалось, что Осип искреиие поражен ненужностью и безумнем сделаиного нм,— скользкий, точно облизаный, напоминая новорожденного теленка, он сидел на земле, покачнвая головою, шаря руками по песку вокруг себя, н ие своим голосом все бормотал покаяиные слова, ии иа кого не глядя.

Я смотрел иа него, думая — где же тот воевода-человек, который, идя впереди людей, заботливо, умио н властно вел их за собою?

В душу иалнвалась неприятиая пустота, я подсел к Оснпу и, желая что-то сохраиить, тихо сказал ему:

— Будет тебе...

Он искоса взглянул на меня и, распутывая бороду пальцами, так же тихо молвил:

— Видал? То-то вот...

И снова заворчал громко, для всех:

— Какая штука — а?

...На вершине горы, на фоне уже потемневшего неба, стоит черная щетина деревьев, гора прилегла к берегу, точно большой зверь. Появились синие тени вечера, они выглядывали из-за крыш домов, прижавшихся к темной коже горы, точно болячки, смотрели из рыжей, влажной пасти глинистого оврага, широко разинутой на реку,— чудилось, будто она тянется к воде, чтобы выпить ее.

Река потемнела, шорох и скрежет льда стал глуше, ровнее; иногда льдина тыкалась краем в берег, как свинья рылом, минуту стояла неподвижно, покачнувшись, отрывалась, плыла дальше, а на место ее лениво вползала другая.

Быстро прибывала вода, заплескивая землю, смывая грязь,— грязь расходилась темным дымом по мутно-синей воде. В воздухе стоял странный звук — хрустело и чавкало, точно огромное животное, пожирая что-то, облизывалось длинным языком.

Из города плыл приглушенный расстоянием сладкозвучно-грустный колокольный звон.

С горы, как два веселых щенка, катились Дятловы, с бутылками в руках, а наперерез им — вдоль берега — шел серый околодочный и двое черных полицейских.

— Ах ты, господи! — стонал Осип, тихонько поглаживая колено.

Мещане, завидя полицию, раздвинулись шире, выжидающе примолкли, а околодочный — сухонький человечек с маленьким лицом и рыжими усами в стрелку — подошел к нам, строго говоря сиповатым, деланным баском:

— Это вы, дьяволы...

Осип опрокинулся спиной на землю и торопливо заговорил:

— Это — я, ваше благородие, я всему затейщик! Простите, праздников великих ради, ваше благородие...

— Как же ты, старый черт,— закричал околодочный, но крик его пропал, потонул в быстром потоке умильных, ласковых слов.

— Квартера у нас здесь, в городу; на том берегу ничего нам нет, и денег нет у нас на хлеб, а после завтрея, ваше благородие, велик Христов день,— в баньку надобно, на церковную службу хочется, как мы христиане, ну — я и говорю: «Айдате, ребята, что бог даст, не по худому делу пойдем». И за продерзость наказан я, вот — ноженьку разбил вовсе...

— Да! — сурово крикнул околодочный.— Ну, а если б вы утопли — что тогда было бы?

Осип глубоко и устало передохнул:

— Что же было бы, ваше благородие? Ничего бы, чать, не было, извините...

Полицейский ругался; все слушали его молча и внимательно, точно человек не матерней оскорблял грязно и цинично, а говорил важные слова, которые всем необходимо знать и помнить.

Потом, переписав наши имена, он ушел; мы, распив жгучую водку, согретые и приободренные, стали собираться домой — Осип, усмехаясь, поглядел вслед полиции и вдруг, легко поднявшись на ноги, истово перекрестился.

— Вот и конец всему, слава тебе господи!..

— Стало быть,— изумленно и разочарованно загнусил Боев,— стало быть, нога-то — цела? Не сломал, значит?

— А тебе надо, чтоб сломал?

— Ах,— комедьян! Петрушка ты несчастный.

— Пошли, ребята! — скомандовал Осип, натягивая на голову мокрую шапку.

...Я шел рядом с ним сзади всех; он говорил мне тихонько, ласково и как бы сообщая одному ему известную тайну:

— И что ни делай, как ни кружись, ну — без хитрости, без обману — никак нельзя прожить, такая жизнь, такая она есть, пострели ее в душу... Ты бы на гору, а черт за ногу...

Темно, и во тьме вспыхивают красные, желтые огни, как бы говоря:

«Сюда идите!..»

Идем встречу звону на гору, журчат ручьи, сбегая под ноги нам, и ласковый голос Осипа утопает в их шуме:

— Ловко я полицию-то обошел! Вот как надобно дела делать — чтобы никто ничего не понял, а каждому чудилось, будто он и есть — главная пружина, да... Пускай каждый думает, будто его душа — дело совершила...

Я слушаю его речь и — плохо понимаю ее.

Да мне и не хочется понимать, в душе у меня просто и легко; я не знаю — нравится мне Осип или нет, но готов идти рядом с ним всюду, куда надобно,— хоть снова через реку, по льду, ускользающему из-под ног.

Гудят, поют колокола, и радостно думается:

«Еще сколько раз я встречу весну!..»

Осип говорит, вздыхая:

— А душа человечья — крылата,— во сне она летает...

Крылата? Чудесно!..

ЖЕНЩИНА

Летит степью ветер и бьет в стену Кавказских гор; горный хребет — точно огромный парус, и земля — со свистом — несется среди бездонных голубых пропастей, оставляя за собою изорванные ветром облака, а тени их скользят по земле, цепляются за нее, не могут удержаться и — плачут, стонут...

Деревья гнутся долу, словно бегут; кусты встряхивают ветвями, как собаки шерстью, и стелются по черной земле,— она дымится вся в пыли, течет не умолкая сухой шорох, свист и вой, щелкают аисты, крякают сытые вороны, немолчно трещат степные сверчки, и, словно командуя всем, раздаются крики солидных, крупнорослых станичников. С голой степи мчится перебитая молотилками золотая солома, на площади нарядной казачьей станицы крутятся серые вихри, летают птичьи перья и сожженный солнцем желтый лист.

Торопливо появляется солнце, быстро исчезает, точно оно гонится за бегущей землею и устало уже — отстает, тихо падая с неба в дымный хаос на

западе, где тоже горы в снежных вершинах и краснеют сырые тучи, тяжелые, как вспаханная земля.

Порою между массами туч ослепительно сверкает седло Эльбруса и хрустальные зубья других гор — они вцепились в облака и пытаются удержать их. Так ясно чувствуешь бег земли в пространстве, что трудно дышать от напряжения в груди, от восторга, что летишь вместе с нею, красивой и любимой. Смотришь на эти горы, окрыленные вечным снегом, и думается, что за ними бесконечно широкое синее море и в нем гордо простерты иные чудесные земли или просто — голубая пустота, а где-то далеко, чуть видные в ней, кружатся разноцветные шары неведомых планет — родных сестер моей земли...

Со степи едут воза обмолоченного хлеба; в пыли, черной и жирной, как сажа, степенно и тяжко шагают круторогие сивые волы, глядя в землю терпеливым взглядом круглых глаз; на возу лежит казак, в серой от пыли рубахе, мохнатая папаха сдвинута на затылок, лицо черно от загара, глаза красны от ветра, а борода склеена потом, пылью — точно каменная. Иногда казак идет впереди воза, у ярма; ветер толкает его в спину, раздувая рубаху; человек так же гладок и солиден, как вол, и глаза у него такие же терпеливо-умные, двигается он не торопясь, как будто зная все, что ждет его впереди.

— Цоб... цобе...

У них хороший урожай в этом году, все они — здоровые, сытые, но — смотрят хмуро, говорят неохотно, сквозь зубы. Может быть, устали в работе...

Посреди станицы в небо поднялась красиокирпичная церковь о пяти главах, с колокольней над папертью; наличники окон оштукатурены и покрашены желтоватой краской — церковь как будто слеплена из мяса, обильно прослоенного жиром, тень ее тучна и тяжела: храм, созданный сытыми людьми большому, спокойному богу.

Хороводом стоят приземистые белые хаты; точно дородные бабы, стоят они, опоясавшись кручеными поясами плетней, пышно окутанные шелками садов, покрытые выцветшей парчою камышовых крыш, а над крышами качаются серебристые тополя, вздрагивает кружевная листва акации, тарахтят, как детские погремушки, сухие стручья, темные ладони каштанов треплются в воздухе, точно желая схватить быстро бегущие облака. Со двора на двор бегают казачки, высоко подоткнув подолы юбок и рубах, обнажив до колен большие, крепкие ноги,— торопясь убраться к празднику, они озабоченно покрикивают друг на друга и на круглых ребятишек, которые — словно воробьи — купаются в пыли и, черпая ее горстями, высоко подкидывают в воздух.

У церковной ограды, за ветром, развалились по сухому рыжему бурьяну «шляющие за работой»; их десятка два, все это — «никудышный народ», мечтатели, ожидающие счастливого случая, доброй улыбки судьбы, или — лентяи, опьяненные широким простором богатой земли, пленники русской страсти к бродяжеству. Они ходят группами в два-три человека из станицы в станицу, именно «за работой», смотрят на нее, удивляются ее обилию, но работают только в крайней нужде, когда уже нет возможности утолить голод иными способами — попрошайничеством или воровством.

Завтра — Успеньев день, в богатой станице — праздник, и вот они собрались отовсюду, в надежде, что праздничный день напоит и накормит их досыта, без труда с их стороны.

Все это «русские» — из центральных губерний, они дочерна сожжены непривычным солнцем юга, волосы их выгорели, ветер ершит и треплет их лохмотья, все они притворяются смирными, благочестивыми — устали от трудов, от неудач жизни и вот — сошлись сюда.

Когда мимо них проплывает, охая и поскрипывая, тяжелый воз хлеба, проходит, жуя соломинку, казак,— они покорно, наянливо кланяются ему, а он смотрит на них косо, пренебрежительно, не ломая шапки, чаще же совсем не видит, как изгибаются перед ним серые лохматые фигуры чужих людей.

Ниже и вычурнее других кланяется казакам туляк Конёв, мужик сухой, обгорелый, точно головня, с черной бородкой, беспечно рассеянной по костлявому лицу, с ласковой улыбочкой темных глаз, глубоко спрятанных в орбиты.

Я только сегодня пристал к этим людям, но Конёв — старый знакомый мой, по пути из Курска до Терской области я неоднократно встречал его. Он — человек «артельный», любит держаться среди людей, но, кажется, лишь потому, что очень труслив. На всех точках земли вне своей деревни, прижавшейся где-то к пескам Алексинского уезда, он убежденно говорит всегда одно и то же:

— Действительно, землица тут богатая, а с людями я не согласен... никак! В нашем краю народ куда те душевнее, настоящий русский народ, равненья нет со здешним! Тут — кремни, тут души и на трешник нет!

Он любит тихо и задумчиво рассказать чудесный случай неожиданного обогащения:

— Вот — в подковы ты не веришь, а я те скажу — нашел один ефремовский мужик подкову, а недели через три за этим дядя его, лавошник в Ефремове — со всею семьею и сгори,— видал? Все наследство — мужику этому попало,— да! Нет, ты не бай, чего не знаешь: судьба человека жалеет, она его часто с добром стережет...

Его черные, круто изогнутые брови всползают высоко на лоб, а глаза изумленно выкатываются из орбит, точно Конёв и сам не может поверить в то, что рассказал.

Когда казак пройдет, не ответив на поклон, Конёв смотрит в спину ему и ворчит:

— Заелся, не видит даже человека... Нет, я прямо скажу: суходушный народ!..

С ним — две женщины: одна — лет двадцати, коротенькая, толстая, со стеклянными глазами и полуоткрытым ртом. У нее лицо дурочки: нижняя часть его, с обнаженными зубами, как будто смеется, а когда взглянешь в неподвижные глаза под низким лбом — кажется, что она сейчас заплачет, испуганно и визгливо, точно кликуша.

— Отпустил он меня сюды с чужими людями,— жалуется она басом, засовывая коротким пальцем под зеленый и желтый платок выгоревшие волосы.

Толсторожий скуластый парень с маленькими глазками монгола толкает ее локтем в бок, сипло и лениво говоря:

— Бросил он тебя. Только ты его и видела...

— Да-а,— задумчиво тянет Конёв, разбираясь в своей котомке.— Теперь баб очень просто покидают, ни к чему они в этом годе, нипочем...

Баба морщится, испуганно мигая, растягивает рот,— ее подруга говорит бойко и внятно:

— А ты не слушай их, озорников...

Она постарше лет на пять, и лицо у нее не обычное: большие темные глаза все время играют, почти каждую минуту меняя выражение: то они пристально

н серьезио смотрят куда-то вдоль станичной улицы н в степь, где летает ветер, вдруг тороплнво начинают нскать чего-то на лицах людей, потом тревожно прищурятся, по красивым губам пробежит улыбка,— жеищииа, опустнв голову, прячет лицо, а когда вновь подннмает его — глаза у иее новые: сердито расширены, между тоиких бровей лежнт угловатая складка, запекшнеся губы аккуратного рта плотно н упрямо сжаты, она шумио, как лошадь, втягнвает воздух тоикнмн ноздрямн прямого иоса.

В ней чувствуется что-то ие крестьяиское: нз-под синей юбкн высунулись потрескавшнеся ступии ног — это не деревенскне растоптаниые иоги, подъем их высок, заметно, что онн привыкли к башмакам. Она чнннт голубую с белыми горошииамн кофту, и вндно, что работать нглой привычио ей,— небольшне загорелые рукн мелькают над измятой материей ловко и быстро. Ветер хочет вырвать шитье нз этих рук н ие может. Сндит она согнувшись, в прореху холщовой рубахн я внжу иебольшую крепкую грудь,— грудь девушкн, ио оттянутый сосок говорит, что предо миою — женщниа, кормнвшая ребеика. Среди этнх людей она — точно кусок медн в куче обломков старого, изъедениого ржавчииой железа.

Большннство людей, средн которых я нду по земле,— не то восходя, не то опускаясь куда-то,— серо, как пыль, мучительно поражает своей ненужиостью. Не за что ухватнться в человеке, чтобы открыть его, заглянуть в глубнну душн, где живут еще иезиакомые мие мыслн, иеслыхаиные миою слова. Хочется вндеть всю жнзнь красивой н гордой, хочется делать ее такою, а она все показывает острые углы, темиые ямы, жалкнх, раздавлениых, нзолгавшнхся. Хочется бросить во тьму чужой души малеиькую нскру своего огня,— бросншь, она бесследно нсчезает в немой пустоте...

А эта жеищина будит фаитазию, заставляя догадываться о ее прошлом, н иевольио я создаю какую-то сложиую нсторню человеческой жизин, раскрашнвая эту жнзнь краскамн свонх желаннй и надежд. Я знаю, что это ложь, и — знаю — худо будет мие со временем за иее, но — грустно видеть действнтельность столь уродлнвой.

Большой рыжнй мужнк, спрятав глаза, с трудом подыскнвая слова, медлеиио рассказывает голосом густым, как деготь:

— Ладно-о. Пошлн. Дорогой я ему баю — хошь не хошь, Губнн, а вор — ты, более иекому...

Все «о» рассказчнка крепкне, круглые, они катятся, точно колесо тяжелого воза по теплой пыли проселочной дорогн.

Скуластый парень неподвижно остаиовнл иа молодой бабе в зеленом платке свинцовые белки с мутными, точно у слепого, зрачкамн, срывает серые былннкн, жует нх, как теленок, н, засучив рукав рубахн по плечо, сгибает руку в локте, косясь иа вздувшийся мускул.

Неожнданно он спрашнвает Конёва:

— Хошь — дам раза?

Конёв задумчнво посмотрел на кулак — большой, как пудовая гнря и словио ржавчниой покрытый,— вздохиул н ответнл:

— Ты себя по лбу вдарь, может, умней будешь...

Парень смотрнт иа него сычом, спрашивая:

— А почему я дурак?

— Налнчиость доказывает...

— Нет, постой,— тяжело подиявшнсь на коленн, прнднрается пареиь.— Ты отколь зиаешь, каков я?

— Губернатор ваш сказывал мне...

Парень помолчал, удивлеиио посмотрел на Конёва н спроснл:

— А — какой я губериин?

— Отвяжнсь, коли забыл.

— Нет, погодн! Ежелн я тебя вдарю...

Перестав шить, женщниа повела круглым плечом, как будто ей холодно стало, н ласково осведомнлась:

— А в сам-деле — какой ты губерннн?

— Я? Пензенской,— ответнл пареиь, торопливо переваливншнсь с колеи на корточкн.— Пензенской, а — что?

— Так...

Жеищииа помоложе страино засмеялась подавлеиным смехом.

— И я...

— А уезда?..

— А я и по уезду — Пеизеиская,— не без гордостн сказала молодуха.

Сидя перед иею, точно перед костром, парень протягнвал рукн к ней и увещевающнм голосом говорнл:

— У нас город — хорош! Трактиров, церквей, домов каменных... а в одном трактнре — машниа нграет... все, что хошь... все песнн!

— И в дураки тоже нграет,— тнхонько бормочет Коиёв, но, увлеченный рассказом о прелестях города, парень уже нnчего не слышит, шлепает большими влажиымн губамн н, как бы обсасывая слова, ворчнт:

— Домов камениых...

Женщнна, сиова оставнв шнтье, спросила:

— И моиастырь есть?

— Монастырь?

Свирепо почесав шею, парень молчнт, потом сердито отвечает:

— Моиастырь! Я дотошио ие зиаю... я одии раз в городу-то был, когда нас, голодающнх, железную дорогу строить гиалн...

— Эхе-хе,— вздохиул Конёв, вставая и отходя.

Людн прнжалнсь к церковной ограде, как сор, согнаиный степным ветром и готовый сиова выкатнться в степь иа волю его. Трое спят, иекоторые чннят одежду, бьют паразитов, нехотя жуют черствый хлеб, собраиный под окиами казачьих хат. Смотреть на нних скучно, слушать беспомощную болтовию парня досадно. Старшая женщнна, часто отрывая глаза от работы, чуть-чуть улыбается ему, н хотя улыбка скупенькая, оиа раздражает меия, н я нду за Конёвым.

У входа в церковную ограду стоят сторожамн четыре тополя; ветер гнет их, они клаияются сухой пыльной земле н в мутную даль, где возвыснлись оковаииые сиегом вершнны гор. Рыжая степь облита золотым солицем, гладка, пустыиiа и зовет к себе тнхнм свистом ветра, сладкнм шорохом сухих трав.

— Бабеночка-то? — мечтательно спрашнвает Конёв, прнслоиясь к стволу тополя и обняв его рукою.

— Откуда она?

— Говорнт — рязанская, а звать — Татьяиой...

— Давио с тобой ходнт?

— Не-е... кабы давно! Седнн утром встрелась, верст за тридцать отсюда... с подругой, с этой. Да я н ране вндал ее, около Майкопу, на Лабе-реке, в косовнцу. В ту пору был с ней мужик пожилой, бритый, вроде бы солдат, не то любовник ей, не то дядя. Пьяннца, драчуи. Там его за трн дня дважды били.

А теперь вот ндет она с подругой этой. Дядю-то посадили в казачью тюрьму, как ои шлею и вожжи пропил...

Конёв говорит охотно, но — как бы додумывая какую-то иевеселую думу. Ои смотрнт в землю. Ветер треплет его рассеянную бородку и рваиый пиджак, срывает с головы картуз — измятую тряпнцу без козырька, с вырваииой подкладкой,— картуз этот — точио чепчнк и придает ннтересной голове Коиёва смешной бабнй вид.

— М-да-а,— сплюнув, сквозь зубы тянет ои,— приметная бабеночка... рысак, просто сказать! Наиес черт толстомордого этого... у меня бы с ей, гляднщь, дела наладнлнсь хорошне, а он... пожалуйте! Пес...

— Ты говорил — у тебя жеиа есть...

Коиёв метнул в лицо мие сердитый взгляд н отвериулся, ворча:

— Алн я жену в котомке иошу?

Площадью ндет кособокнй усатый казак, с большимн ключамн в руке,— в другой у него смятая фуражка вперед козырьком. За ним, всхлнпывая н вытирая глаза кулакамн, плетется кудрявый мальчнк, лет восьмн, н шершавая собака,— морда у нее уиылая, хвост опущеи, должно быть — тоже обижеиа. Когда мальчоика всхлипнет громче, казак останавливается, молча ждет его н, ударив по темеии козырьком фуражкн, ндет дальше, качаясь, как пьяиый, а мальчик и собака несколько секунд стоят на месте, однн — внзжнт, другая, равиодушио июхая воздух старым чериым иосом, встряхнвает хвостом в репьях. Внд у иее ко всему привычный, и оиа похожа иа Коиёва, только старше.

— Ты вот сказал — жеиа,— тяжко вздыхая, говорит Коиёв,— конечио... ну,— ие всякая болезнь — до смерти!.. Жеиилн меня девятнадцатн лет...

Остальиое я зиаю, слышал эти рассказы иеоднократно, но мне леиь остаиовнть Конёва, и в ушн иазойлнво лезут зиакомые жалобы.

— Девка сытая, на любовь охочая. Пошли-посыпались дети, вроде бы тараканы с полатей.

Ветер стаиовнтся тнше, уныло шепчет о чем-то...

— Оглянуться не успел, а нх — семеро, н все живут,— на тебе! А всего заводу было трннадцать — к чему это? Теперь счнтай: ей сорок два, а мне сорок трн, она — старуха, а я — вот он! Я еще веселый. Одолела меия бедность-ннщета, старшеиькая девчоиочка моя знму эту в кусочкн ходила — что поделаешь? А я — по городам шлялся, ну — там для иас одно дело: гляди да облнзывайся! Прямо — внжу, ие хватнт меня,— плюиул на все и — пошел...

Сухоиький, стройиый этот человек ие позволяет думать, что он работал много н любнт работать. Рассказывая, он не жалуется, говорнт просто, как бы вспомнная о ком-то другом.

Казак поравнялся с намн, расправнл усы н густо спроснл:

— Откуда?

— Из Россин.

— Вы все оттуда,— сказал он и, отмахиувшнсь рукой от нас, пошел к папертн. Нос у него уродливо широк, круглые глазкн заплылн жиром, лысая голова напомннает башку сома. Мальчнк, вытирая нос, ушел за ннм, собака обнюхала ноги нашн, зевнула н свалилась под ограду.

— Вндал? — ворчнт Конёв.— Нет, в России народ обходительней, куда те! Стой-ко!

За углом ограды — бабнй внзг, глухне удары, мы бросаемся туда н вндим: рыжнй мужнк, сидя верхом на пеизеиском парне, покрякивая и со вкусом счнтая удары, бьет его тяжелыми ладонями по ушам, рязанская женщнна безуспешно толкает рыжего в спнну, ее подруга — визжит, а все остальиые, вскочнв иа иогн, сбнлись в кучу, смеются, кричат...

— Так!

— П-пять! — считает рыжий.

— За что?

— Шесь!

— Буде! Эхма,— подпрыгнвая на одном месте, волнуется Коиёв.

Один за другнм раздаются хлесткне, чмокающне удары; парень возится, лягается, ткиувшись лицом в землю, и раздувает пыль. Высокий сумрачный человек в соломениой шляпе, ие торопясь, засучнв рукава рубахи, встряхивает длниной рукою, вертлявый серый пареиек воробьем иаскакнвает иа всех и советует вполголоса:

— Прекратнте! Заарестуют всех по скаидалу...

А высокий подступнл вплоть к рыжему, однм ударом по внску сшиб его со спины парня н, обращаясь ко всем, поучнтельио сказал:

— Это — по-тамбовски!

— Бесстыднннн, лиходеи,— кричала рязанская, наклонясь иад парием; щеки у иее былн багровые, она отнрала подолом юбки окровавленное лнцо избитого, темные глаза ее блестели сухо н гневно, а губы болезиенио дрожалн, обиажая ровные ряды мелкнх зубов.

Конёв, прыгая вокруг иее, советовал:

— Ты — водой его, воды дай...

Рыжнй, стоя на коленях, протягнвал тамбовцу кулаки н кричал:

— А ои чего силой хвастал?

— За это — бнть?

— А ты кто таков?

— Я?

— Самый ты?!

— Я те вот шаркиу еще раз...

Остальные горячо спорилн о том, кого надо счнтать зачннщнком драки, а вертлявый паренек, всплескивая руками, умолял всех:

— Оставьте шум! Чужая сторона, строгостн н все... а, б-боже мой!

Ушн у иего странио оттопырены, кажется, что еслн он захочет, то может прнкрыть ушамн глаза.

Вдруг в красиом небе гулко вздохиул колокол, заглушнв все голоса, и в то же время средн толпы очутился молодой казак с палкой в руке, круглолицый, внхрастый, густо окроплеиный веснушкамн.

— Отчего шум, стерво? — добродушно спроснл он.

— Избили человека,— сказала рязанка, сердитая н краснвая.

Казак взгляиул на иее, усмехнулся.

— Где спнте?

Кто-то неуверенио сказал:

— Тут.

— Не можио. Ще церкву обворуете... Гайда до войсковой, тамо вас разведуть по хатам.

— Вот это — ннчего! — говорил Конёв, ндя рядом со мною.— Это все-такн...

— Ворами нас считают,— сказал я.

— Так — везде! Это н у иас тоже полагается. Осторожность: про чужого всегда лучше думать, что он вор...

А рязанка шла впередн иас рядом с толстомордым парием; он раскис и бормотал что-то невиятиое,

а она, высоко подняв голову, четко говорила тоном матери:

— Ты — молоденький, тебе не надо с разбойниками якшаться...

Медленно бил колокол, и встречу нам со дворов выползали чисто одетые старики и старухи, пустынная улица оживала, коренастые хаты смотрели приветливее.

Звонкий девичий голос кричал:

— Ма-ам? Мамка! Ключ от зеленого сундука — где? Ленты взять...

Мычали волы, отвечая зову колокола глухим эхом.

Ветер стих; над станицей замедленно двигались красные облака, и вершины гор тоже рдяно раскраснелись. Казалось — они тают и текут золотистоогненными потоками на степь, где, точно из камня высеченный, стоит на одной ноге аист и слушает тихий шорох уставших за день трав.

На дворе войсковой хаты у нас отобрали паспорта, двое оказались беспаспортными, их отвели в угол двора и спрятали там в темный хлевушок. Все делалось тихо и спокойно, как обычное, надоевшее. Конёв уныло посматривал в темнеющее небо и ворчал:

— Удивительно даже...

— Что?

— Пачпорта, например. Хорошего, смирного человека можно бы и без пачпорта по земле пускать... Ежели я — безвредный...

— Ты — вредный,— сердито и уверенно сказала рязанка.

— Почему так?

— Я знаю почему...

Конёв усмехнулся и замолчал, закрыв глаза.

Почти до конца всенощной мы валялись по двору, как бараны на бойне, потом меня, Конёва, обеих женщин и моршанского парня отвели на окраину станицы в пустую хату, с проломленной стеною, с выбитыми стеклами в окнах.

— На улицу не выходить — заарестуем,— сказал казак, провожавший нас.

— Хлебушка бы, небольшой кусок,— заикнулся Конёв.

Казак спокойно спросил:

— Работал?

— Мало ли!

— А на меня?

— Не довелось...

— Когда доведется, то я тебе дам хлеба...

И, коротенький, толстый,— выкатился со двора, как бочка.

— Ка-ак он меня, а? — изумленно возводя брови на середину лба, бормотал Конёв.— Это, просто сказать, жох-народ... ну-ну!

Женщины ушли в самый темный угол хаты и точно сразу заснули там; парень, сопя, ощупывал стены, пол, исчез, вернулся с охапкой соломы в руках, постелил ее на глинобитный пол и молча разлегся, закинув руки под избитую голову.

— Глядите, какое соображение выказал пензяк-то! — воскликнул Конёв завистливо.— Бабы, ой! Тут где-то солома есть...

Из угла сердито ответили:

— Поди да принеси...

— Вам?

— Нам.

— Надо принести.

Сидя на подоконнике, он немножко поговорил о бедных людях, которым хотелось пойти в церковь помолиться богу, а их загнали в хлев.

— Да. А ты баешь,— народ — одна душа! Нет, браток, у нас в России люди праведниками считать себя очень стесняются...

И вдруг, перекинув ноги на улицу, он бесшумно исчез.

Парень уснул беспокойным сном, возился, раскидывая по полу толстые ноги и руки, стонал и всхрапывал, шуршала солома. В темноте шушукались бабы, шелестел сухой камыш на крыше хаты — ветер все ещё вздыхал. Щелкал по стене какой-то прут, и все было как во сне.

За окном густо-черная ночь, без звезд, многими голосами шептала о чем-то жалобном и грустном; с каждой минутой звуки становились все слабее, а когда сторожевой колокол ударил девять раз и гул меди растаял — стало еще тише, точно многое живое испугалось звона ночного и спряталось — ушло в невидимую землю, в невидимое небо.

Я сидел у окна, глядя, как земля дышит тьмою и тьма давит, топит теплой черной духотой своей серые бугры хат. Церковь была тоже невидима, точно ее стерло. Ветер, многокрылый серафим, гнавший землю три дня кряду, внес ее в плотную тьму, и земля, задыхаясь от усталости, чуть движется в ней, готовая бессильно остановиться навсегда в этой тесной черноте, насквозь пропитавшей ее. И утомленный ветер тоже бессильно опустил тысячи своих крыльев — мне кажется, что голубые, белые, золотые перья их поломаны, окровавлены и покрыты тяжкой пылью.

Думалось о маленькой и грустной человечьей жизни, как о бессвязной игре пьяного на плохой гармонике, как о хорошей песне, обидно испорченной безголосым, глухим певцом. Стонет душа, нестерпимо хочется говорить кому-то речь, полную обиды за всех, жгучей любви ко всему на земле,— хочется говорить о красоте солнца, когда оно, обняв эту землю своими лучами, несет ее, любимую, в голубом пространстве, оплодотворяя и лаская. Хочется сказать людям какие-то слова, которые подняли бы головы им, и, сами собою, слагаются юношеские стихи:

Все родной землею нашей
Мы для счастья рождены!
Для того, чтоб быть ей краше,
Солнцем мы земле даны!
В этом светлом солнца храме
Мы и боги и жрецы.
Нами жизнь творима, нами!..

Сквозь тьму, из угла, где спрятались женщины, тихою прерывистой струей просачивается шепот,— я напряженно вслушиваюсь, стараясь поймать слова, различить голоса.

Вот твердо и уверенно говорит рязанка:

— А ты не показывай, что больно...

Ее подруга сморкается и гнусаво тянет:

— Да-а, абы можно терпеть...

— Притворись, говорю. Он — бьет, а ты — ровно бы тебе ничего это, даже шутка...

— Тоды он забьет.

— Да еще посмейся ему, улыбнись ласковенько...

— Не били тебя, видно, не знаешь ты...

— Знаю! И — били, милая. Очень я это испытала. А ты — не бойся, не забьет...

Где-то далеко глухо брехиул пес, прислушался и яростио залаял, ему тотчас отозвались другие, и минуты две я не слышал беседы баб; потом собаки задохиулись и снова потекла тихая речь.

— Мужику тоже трудио жить, не забудь, милая. Всем нам, простым-то людям, трудио, вот и надо, чтоб кто-иибудь показывал, будто ему ничего... вовсе будто легко ему...

— Ой, богородица пречистая...

— Бабья ласка — великое дело; баба и мужу и любовнику вместо матери встает. Ты вот попробуй и увидишь: иачиет он твоему характеру завидовать, станет мужикам хвастаться: у меня-де жена — что хошь с ей делай — веселая, ласковая, вроде — месяц май!.. Ничему не поддается — хоть голову руби...

— Не-ет...

— А ты думаешь — как? Это, дочеиька, такая жизнь...

Мешая слушать, иа улице досадно шаркают чьи-то иеверные шаги.

— Сон богородицы — зиаешь?

— Не-е...

— Спроси старух. Это — хорошо зиать. Неграмотна?

— Нету. А какой сои-от?

— Вот — слушай...

Под окиом раздается осторожный вопрос Коиёва:

— Наши — тут? Ну, слава те господи! Заплутал я, брат, собак взбудил, еле иа кулаки ие попался... иа-кось держи!

Он подал мне большой арбуз, потом сам ввалился в окно, отряхиваясь и шумя.

— И хлебца добыл довольио. Думаешь — украл все? Ни-ии! Почто красть, коли выпросить можно? Я ловок иа это, умею подсыпаться к людям. Иду — вижу: в хате огонь, за столом люди ужииают,— а где много людей, там всегда один добрый есть! Вот — и поужииал, и выпил, и вам притащил... эй, бабоиьки!

Они ие отвечали.

— Дрыхиут, курвины дочери. Бабы?

— Чего иадо? — сухо спросила рязаика.

— Арбузу хотите?

— Спасибо.

Коиёв стал осторожно подвигаться иа голос.

— А хлеба? Пшеничный хлеб, мягкий... просто как ты...

Подруга рязаики сказала голосом иищей:

— Дай мне хлебца...

— То-то же! Где вы тут?

— Мне и арбузу...

— Ты — которая?

— Ой! — болезиенно вскрикиула рязанка.— Куда те несет, пострел?

— Не кричи... темно...

— Спичку бы зажег, черт.

— Сам-четверт. Спичек у меня мало. Ежели я схватился за тебя, ие велика беда. Муж бил — больией было. Бил муж-то?

— А тебе что?

— Любопытно. Эдакую бабеночку...

— Ты — слушай... ты — ие троиь... а то...

— А что?

Они спорили долго, бросая друг в друга какими-то короткими и все более злыми словами, иаконец рязаика глухо крикиула:

— О, черт паршивый... туда же...

Началась возня, раздались удары по мягкому, Коиёв скверно хихикал, а пензенская промямлила:

— Не балуйте, бесстыжие...

Я зажег спичку, подошел к ним и молча оттащил Конёва прочь, это не обидело его, а как будто только охладило: сидя иа полу в ногах у меня, отдуваясь и поплевывая, он говорил увещевающим голосом:

— С тобой, дура, играют, а ты — эко, разошлась!.. Убудет тебя...

— Получил? — спокойно спросили из угла.

— Ну, так что? Губу разбила... важиость!

— Подкатись-ка еще, я те и башку разобью...

— Лошадь! Глупость деревеиская... И ты тоже,— обратился он ко мне,— тащишь за что попало в руки... одежу рвешь...

— Не обижай человека.

— Чудак,— ие обижай! Разве бабу этим обидишь?

И со смешком, грязио, он иачал рассказывать о том, как ловко бабы умеют грешить, как они любят обманут мужика.

— Похабники,— сонно проворчала пензячка.

Скрипнув зубами, парень вскочил, сел и, схватившись за голову руками, угрюмо заговорил:

— Уйду завтра... домой пойду... Господи! Все едино...

Снова свалился, как убитый, а Коиёв сказал:

— Оглобля.

Во тьме поднялась черная фигура, бесшумно, как рыба в воде, поплыла к двери, исчезла.

— Ушла,— сообразил Коиёв.— Здо-оровая бабища! Ну, все-таки, ежели бы ты не помешал, я бы одолел ее, ей-богу!

— Иди за ней, попробуй...

— Нет,— сказал он, подумав,— там она палку какую найдет, кирпич али что другое. Ничего, я ее достигну! Это ты напрасно помешал... позавидовал мне...

Он снова стал скучно хвастать своими победами и вдруг умолк, точно проглотив язык.

Тихо. Все остановилось, прижалось к неподвижной земле и спит. Меня тоже одолевает чуткий сон, я вспоминаю все подарки умершего дня, они растут, пухнут, становясь всё тяжелее, и — точно степная могила надо мною. Дребезжит колокол, крики меди падают во тьму неохотно, паузы между ними неровны.

Полночь.

На сухой камыш крыши и в пыль улицы шлепают тяжелые редкие капли дождя. Трещит сверчок, торопливо рассказывая что-то, и во тьме хаты снова плавает горячий, подавленный, всхлипывающий шепот:

— Ты подумай, голубь, что так-то, без дела ходить, на чужих работать...

Слышен глухой ответ избитого парня:

— Я тебя не знаю...

— Тише...

— Чего тебе надо?

— Ничего не надо. Жалко мне тебя — молодой ты, сильный, а живешь зряшно, я и говорю: идем-ка со мной!

— Куда?

— На морской берег, там — я знаю — есть хорошие места: ты гляди — вон, какая земля здесь ласковая до человека, а там еще лучше...

— Врешь, поди...

— Тихонько, ты! А я женщина — хорошая, я все умею, всякую работу, и заживем мы с тобой хоро-

шо, тихо, на своем месте... Я те деток нарожу-выкормлю... ты гляди, какая годная я, пощупай грудь-то...

Парень громко хрюкает; мне неловко, хочется дать им знать, что я не сплю, но любопытство мешает сделать это, я молчу и вслушиваюсь в странную, волнующую кровь беседу.

— Нет, погоди,— тяжело дыша, шепчет женщина,— не балуй... я ведь не для этого... пусти...

Грубо и громко парень ворчит:

— Тогда — не лезь! Сама лезет, а сама же ломается...

— Тише ты, услышат — стыдно будет мне...

— А приставать ко мне — не стыдно?

Молчание. Парень сердито сопит и возится; капли дождя падают все так же неохотно, лениво, и сквозь их шум текут слова женщины:

— Ты думаешь, я мужика ищу? Мне мужа надо надежного, хорошего человека...

— Еще я те не хорош.

— Экой ты какой...

— Мужа ей! — фыркает парень.— Ловки вы тут... мужа! Ишь ты...

— Ты — послушай: шляться мне надоело...

— Ступай домой.

Помолчав, женщина ответила очень тихо:

— Нету у меня дома, и родни нет...

— Врешь, поди,— повторил парень.

— Ей-богу! Забудь меня богородица, коли вру...

Мне кажется, что в этих словах ее звучат слезы, мне — нестерпимо тяжело и тошно, хочется встать и вышвырнуть парня из хаты пинками, а потом долго говорить этой женщине какие-то сердечные слова. На руки бы взять ее, как покинутого ребенка...

А у них снова началась возня.

— Н-ну, не ломайся,— мычит парень.

— Нет, не надо... силом не дамся...

И вдруг она вскрикнула болезненно и удивленно:

— Ой... за что? За что же?

Я вскочил и тоже закричал, чувствуя, что зверею.

Стало тихо, кто-то осторожно пополз по полу, задел изломанную дверь, висевшую на одной петле.

— Это не я,— заворчал парень,— это вон паскуда пристает ко мне. Жулики здесь все, покою нет...

В стороне от него обиженно вздохнули.

— Дурак ты, дурак...

— Молчи... распутница!

Дождь перестал, в окно вливалась духота, тишина сделалась еще плотнее, тяжело давила грудь и, точно паутина, оклеивала лицо, глаза. Я вышел на двор — на нем было как в погребе летом, когда лед уже растаял и черная яма полна теплой, густой сыростью.

Где-то близко дышала, всхлипывая, женщина, я прислушался и подошел к ней: она сидела в углу двора, спрятав голову в ладонях, и качалась, словно кланяясь мне.

Сердясь на нее за что-то, я долго стоял перед нею, не зная, что сказать, потом спросил:

— Ты — сумасшедшая, что ли?

— Отстань,— не сразу отозвалась она.

— Слышал я твои речи к нему...

— Ну — так что? Тебе какое дело? Брат мне ты али кто?

Говорила она точно сквозь сон и не сердясь. Мутные пятна стены, точно безглазые лица, наблюдали за нами, а рядом тяжко дышал вол.

Я сел рядом с женщиной.

— Эдак ты очень скоро сломишь себе голову...

Не ответила.

— Мешаю я тебе?

— Нет, ничего. Сиди,— сказала она, опустив руки и присматриваясь ко мне.

— Ты — откуда?

— Нижегородский.

— Далё-око...

— Люб тебе парень этот?

Не сразу и как бы считая слова, сказала:

— Ничего. Здоровый такой... да вот — потерянный. Глупый еще, видно. А — жалко, хороший мужик был бы на хорошем месте.

Церковный колокол ударил дважды — она дважды перекрестилась, не прерывая речи.

— Жалко глядеть, когда молодое зря пропадает, жалко силушки, кабы можно — взяла бы всех и поставила на хорошие места.

— А себя — не жаль?

— Как — не жаль? И себя тоже...

— Что ж ты стелешься пред эдаким болваном?

— Я бы его выправила. Думаешь — нет? Не знаешь ты меня...

Она глубоко вздохнула.

— Он прибил тебя, что ли?

— Нет. Ты его не тронь уж...

— А крикнула?

Неожиданно прислонясь ко мне плечом, она тихонько созналась:

— В грудь он меня ударил... он бы одолел меня... А я не хочу, не могу я так, без сердца, словно кошка... Экие вы все какие... несуразные...

Беседа оборвалась. В дверях хаты встал кто-то и тихонько свистнул, точно собаку позвал.

— Это он,— прошептала женщина.

— Уйти, что ли?

Она схватила меня за колено, торопливо сказав:

— Нет, не надо, не надо.

И вдруг подавленно застонала:

— Го-осподи — жалко всех... всю-то жизнь жалко, всю наскрозь, всех людей... Господи-батюшко...

Плечи ее тряслись, она плакала и шептала, жалобно всхлипывая.

— Вот ночью... как вспомнишь все, что видела, всех людей,— тошно, тошно... закричала бы на всю землю... а — что? Не знаю... нечего сказать...

Это мне было глубоко знакомо и понятно — мою душу тоже давил этот крик без слов.

— Кто ты такая? — спрашивал я ее, поглаживая качавшуюся голову, трепетное плечо, и, успокоившись, она тихо рассказала мне сказку своей жизни: она — дочь столяра и пчеловода. По смерти матери отец женился на молодой девице, мачеха уговорила его отдать дочь в монастырь, там Татьяна и жила с девяти лет по невестин возраст. Выучилась грамоте, рукодельям, а потом отец выдал ее за приятеля, солдата, пожилого человека, лесника в монастырском лесу.

Мне досадно, что я не вижу лица ее,— предо мною круглое, тусклое пятно, и, должно быть, она закрыла глаза. Такая странная тишь, что женщина все время говорит едва слышным шепотом. Оба мы точно погружены глубоко в черную пустоту, где нет жизни, и наша доля — начать жизнь.

— Человек был нехороший и пьяница, у него в караулке монашки гуляли по ночам с охочими

людями, и меня он стал к этому склонять, я было не хотела поддаваться, а он — бить меня, ну — уступила я, да на ту пору понравился мне один человек... с ним, а не с мужем, я и узнала настоящее, женское. А любовник-то мой женат был, дозналась жена его про меня — тут мужа моего прогнали с должности. Богатая она была, и, конечно, обидно ей уступать место свое не знай кому. Красивая, толстая только очень. Потом вскоре муж мой помер — опился в день Фрола-Лавра, а батюшка еще раньше помер же. Я — к мачехе, а она говорит: «Зачем ты мне? Подумай». Подумала я — верно, незачем! Я было опять в монастырь, ну — вижу, не для меня это, да и мать Таисья, старушка, учительша моя, сказала мне: «Иди-ка ты, Татьяна, в мир, может и найдешь себе счастье». Вот я и пошла... да и хожу...

— Неладно ты счастья ищешь...

— Уж как умею...

Теперь темнота не казалась туго натянутою тканью тяжелого занавеса, но поредела от напряжения, стала прозрачнее, а местами собралась в густые складки, в комья, набилась в окно хаты и смотрит оттуда слепым черным глазом.

Над буграми крыш всплыла в небо колокольня, поднялись тополя, по стене хаты расползлись трещины и вместе с язвами выкрошившейся известки сделали стену картой какой-то неведомой страны.

Я взглянул в темные глаза женщины, они блестели сухо, печально и показались мне наивными, как у девочки-подростка.

— Чудачка ты...

— Какая есть,— ответила она, облизывая губы тонким, точно кошачьим языком.

— Чего ж ты ищешь?

— Это у меня — обдумано, это я знаю! Вот погоди — встретится мне хороший мужик, и найдем мы с ним землю себе. Найдем мы ее около Нового Афона, я там места знаю, была. И вот начнем устраивать ее хорошо: сад будет, огород и пашня, как надобно для хозяйства.

Слова ее звучали все увереннее и крепче.

— Устроимся мы по-хорошему-то, а к нам еще люди подойдут, а мы уж — старожилы, нам почет от них! Так — еще да еще,— и вот те новая деревня, хорошее место. Мужа, глядишь, в старосты выберут. Водила бы я его чисто, барином. А в саду — дети играют, беседка в саду-то выстроена... беда как хорошо можно жить!

Действительно — будущее продумано у нее насквозь, она рисует новую деревню с такими мелкими подробностями, как будто долго жила в ней.

— Хорошего жительства хочется... Господи! Кабы удалось... Первое дело, конечно, мужик нужен...

Лицо у нее милое, глаза смотрят в тающую ночь, мягко лаская все, на чем остановятся. А мне ее жалко,— жалко почти до слез, и, чтобы скрыть это, я шучу:

— Не гожусь ли я тебе?

Усмехнулась легонько.

— Нет... Ты — не годишься...

— Почему?

— Мысли другие у тебя...

— Ну, откуда тебе знать мои мысли?

Она отодвинулась от меня, сухо сказав:

— По глазам вижу... Нет, зря говорить я не согласна...

Мы сидим на дубовой суковатой колоде, почерневшей от сырости; женщина хлопает ладонью по ней.

— Богато живут казаки, а не нравится мне как...

— Что — не нравится?

— Скушно будто. Всего — много, а — скушно...

Не сдержав жалости к ней, я тихонько сказал:

— И тебе скучно будет — не найдешь ты чего ищешь, я думаю...

Она отрицательно качает головой.

— Бабе скучать некогда. У ней такой оборот жизни: то — ребенка хочет, то — нянчит его... одного вынянчит — другой готов. Весна да осень, а зима с летом мимо идут.

Приятно было смотреть в ее задумчивое лицо; конечно, хотелось крепко обнять ее, но — лучше уйти поскорее в тихую пустынную степь и, унося с собою воспоминание об этой женщине, шагать одиноко по твердой дороге к серебряной стене утонувших в небе гор, к черным ущельям, раздвинувшим на степь свои глубокие прохладные пасти. А уйти — нельзя, паспорт отобран казаками.

— Ты сам-то — чего ищешь? — вдруг спросила она, снова подвинувшись ко мне.

— Ничего. Просто смотрю, как люди живут.

— Одинокий?

— Да.

— Как я все равно. Сколько на свете одиноких-то... господи!

Волы просыпаются и тихонько мычат, напоминая звук волынки, на которой играет, где-то далеко, слепой старик. Сонный сторож неверной рукой четырежды ударил в колокол, два раза — тихо, один — очень громко и сердито, так, что медь взвизгнула, и снова — тихо, чуть коснувшись певучей меди железным языком.

— Как же люди-то живут?

— Плохо.

— Да-а. И я вижу это — плохо.

Мы долго молчим, потом она говорит тихонько:

— Вот — светает, а я — глаз не сомкнула, и — часто это со мной... Задумаюсь про все, задумаюсь... будто я одна на земле, и все надобно мне одной устроить по-новому-то.

— Недостойно себя живут люди, в безгласии и ничтожестве, в неисчислимых обидах нищеты и глупости,— говорю я, забываясь, и горячо исчисляю все виденное мною темное, постыдное, мучительное.— Гляди — ты с добром идешь к человеку, свободу свою, силу готова ему за дружбу отдать, а он этого не понимает, и — как его обвинить? Кто показывал ему доброе?

Она положила руку на плечо мне и смотрит прямо в глаза, немножко приоткрыв красивый рот.

— Ой,— слышу я,— это правда! Милый человек — верно: нет добру цены!

Крепко прижавшись друг к другу, мы точно плывем, а встречу нам выплывает, светлея, освобожденное ночью: белые хаты, посеребренные деревья, красная церковь, земля, обильно окропленная росою.

Восходит солнце; над нами — точно тысячи белых птиц — плывут стаи прозрачных облаков.

— Господи,— шепчет Татьяна, толкая меня,— ходишь одна, думаешь, а — о чем? Ну, милый же вы человек... все это — правда! Никому ничего не жаль... ах, как верно!

И, вдруг вскочив на ноги, она приподняла меня и прижалась ко мне так крепко, что я отстранил ее,

но она плачет, тянется ко мне и целует сухими, точно острыми губами — эти поцелуи доходят до сердца.

— Ну, добрый же вы мой,— всхлипывая, шепчет она, а у меня земля уходит из-под ног.

Оторвалась, оглянула двор и деловито пошла в угол его — там, под плетнем, густо разрослись незнакомые мне травы.

— Иди, идите-ко...

Потом, сидя в бурьяне, точно в маленькой пещере, смущенно улыбаясь, оправляя волосы, она тихонько шепчет:

— Вот, как случилось... Ну — ничего... господь мне простит...

Удивленный, чувствуя себя как во сне, я благодарно смотрю на нее. Мне как-то особенно легко: в груди у меня светлая пустота, а в ней, как ласточки в небе, мелькают какие-то неуловимые радостные мысли и слова.

— В большом горе и маленькая радость велика,— слышу я.

Я гляжу на грудь женщины, окропленную, как земля росою, каплями влаги, они краснеют, отражая солнечный луч,— точно кровь выступила сквозь кожу. И моя радость быстро тает — почти до слез, до тоски жалко эту грудь,— я, почему-то, знаю, что бесплодно иссякнет живой ее сок.

Как будто извиняясь предо мной, она говорит немножко печально:

— Что сделаешь с собой? Иной раз так уж бывает — нахлынет что-то в душу до того, что даже больно в грудях, и так уж вся и открылась бы, как перед месяцем... али — в жару — пред рекою... право, ей-богу! После, конечно, стydненько... не гляди-ко на меня! Что уставился, словно робенок?

А я не могу отвести глаз от нее, думая о том, что потеряется она на запутанных дорогах.

— И лицо — будто у новорожденного...

— Глупое, что ли?

— Похоже, что глупое.

Застегнув кофту, она сказала:

— Скоро, чать, к обедне ударят... Пойду, надо помолиться богородице. Ты сегодня идешь?

— Как только паспорт получу...

— Куда путь?

— На Алагир. А — ты?

Встав на ноги, она оправляет юбку,— бедра у нее уже плеч, вся она осанистая, стройная.

— Я-то? Не знаю еще... Надобно мне в Нальчик... а может, не пойду. Не знаю.

И, протянув ко мне крепкие, ловкие руки, она предложила, краснея:

— Ну, давай поцелуемся еще на росстанье.

А обняв одной рукою и крестя другой — сказала:

— Прощай, дружок! Спаси тебя Христос за хорошее слово, за всю твою повадку...

— Пойдем вместе?

Вырвалась из рук моих, твердо и строго говоря:

— Не годится это мне... не согласна! Кабы ты крестьянин был, а так — что толку? Одним часом жизнь не меряют, а годами...

И ушла в хату, тихо улыбнувшись мне на прощанье. Я сел на колоду, думая об этой женщине: что найдет она?.. Увижу я ее еще когда-нибудь?

Заблаговестили к ранней обедне; станица давно уже проснулась и солидно, невесело шумела.

Когда я вошел в хату за котомкой — хата была уже пуста, должно быть, все вышли через разломанную стену прямо на улицу.

Сходил в войсковую избу, взял паспорт и отправился на площадь — нет ли попутчиков?

Как вчера, у ограды валялись люди из России, сидел, прислонясь спиною к бревну, толстомордый пензяк,— его разбитое лицо стало еще больше, уродливее, а глаза совсем заплыли в багровых опухолях.

Явился новый — седенький, остробородый старичок, в бархатной выцветшей скуфейке, тощий и сухой. Личико у него с кулак, нос хищно загнут и — красный, пористый, а глаза — сердито-вороватые.

Рыжий орловец и вертлявый паренек наседают на него:

— Ты чего ради шляешься?

— А — ты? — тоненьким голосом спрашивает старик, прикручивая проволокой отломившуюся ручку закопченного железного чайника и ни на кого не глядя.

— Мы — за работой ходим!

— Мы живем, как велено...

— Кем?

— А — богом! Забыл?

Старик равнодушно и четко говорит:

— Плюет на вас бог песком да пылью, кою вы же сами поднимаете, шляясь по земле его зря...

— Стой! — кричит ушастый парень.— Как? А Христос с апостолами не ходил по земле?

— То — Христос! — значительно сказал старик, подняв на спорщика острые глаза.— Дураки! Что говорите, с кем в ряд ставитесь? Я вот крикну казака...

Много раз слышал я такие споры, и они так же противны мне, как беседы о душе.

Надобно идти.

Появился Конёв, растрепанный, потный и, тревожно мигая, спросил:

— Рязанку эту, Таньку, видал? Нет? Ах, ведьма, стало быть — ушла она в ночь! Дали мне вчера чего-то выпить, настойки, что ли! Спал я всю ночь, как медведь зимой... А она с этим, видно, с пензяком...

— Вот он,— указал я.

— Э... на-ко ты! Ну, как же расписали человека, а? Богомазы, просто сказать...

Он снова начал беспокойно оглядываться.

— Куда же они обе пошли?

— За обедней, может...

— И верно! Конечно! За-адела, брат, меня баба эта — ух как!

Но и после ранней обедни, когда — под веселый звон колоколов — нарядное казачество, степенно выплыв из церкви, разлилось по станице яркими ручьями,— мы не нашли Татьяну.

— Ушла,— печально ворчал Конёв.— Ну, однако ж, я ее найду... я — настигну...

Мне не верилось в это и не хотелось этого.

Лет через пять я шагал по двору Метехского замка в Тифлисе, безуспешно пытаясь догадаться — за какие провинности посадили меня в эту тюрьму?

Картинно грозная извне, внутри она была наполнена веселыми и мрачными юмористами — мне казалось, что все люди в ней устроили «с разрешения начальства» любительский спектакль и, как подростки, охотно, усердно, но — неумело играют плохо понятые роли арестантов, надзирателей, жандармов.

Сегодня, например, пришли в камеру мою надзиратель и жандарм, чтобы вести меня на прогулку,— я заявил им:

— Можно мне не гулять? Нездоров я, и не хочется...

Большой, русобородый красавец жандарм строго поднял палец вверх.

— Тебе хотеть не велено...

А надзиратель, черный, как трубочист, с большими синими белками глаз, подтвердил вывихнутым языком:

— Тута ныкому нэ вэлэно хотэть — знаишь?

И вот я гуляю.

На дворе, мощенном камнем, жарко, точно в печи. Висит над ним плоский и мутный квадрат пыльного неба. С трех сторон двор замыкают высокие серые стены, с четвертой — ворота, с какой-то страховидной надстройкой над ними.

Сверху через крыши непрерывно вливается глухой шум бешеных волн рыжей Куры, воют торговцы на базаре Авлабара — азиатской части города; пересекая все звуки, ноет зурна, голуби воркуют где-то... Я чувствую себя внутри барабана, а по коже его бьют множеством палок.

Из двух линий окон вторых и третьих этажей смотрят сквозь решетки смуглые лица, курчавые головы туземцев,— один из них упрямо плюет во двор, явно стараясь доплюнуть до меня, но только напрасно истощает силы.

Другой раздраженно и упрекающе кричит:

— Послушэты! Зачэм ходышь такым курицам? Хады галава вэрх!

Поют странную песню — вся она запутанная, точно моток шерсти, которым долго играла кошка. Тоскливо тянется и дрожит, развиваясь, высокая воющая нота, уходит все глубже и глубже в пыльное тусклое небо и вдруг, взвизгнув, порвется, спрячется куда-то, тихонько рыча, как зверь, побежденный страхом. Потом снова вьется змеею, выползая из-за решетки на жаркую свободу.

Внимая этой песне, отдаленно знакомой мне,— звуками своими она говорит что-то понятное сердцу, больно трогающее его,— я хожу в тени тюремного корпуса, поглядывая на окна, и вижу — в рамке одного из железных квадратов вклеено чье-то печально-удивленное голубоглазое лицо, обросшее беспечно растрепанной черной бородкой.

— Конёв? — вслух соображаю я.

Он,— на меня уставились, прищурясь, очень памятные мне глаза.

Оглядываюсь — мой надзиратель дремлет, сидя в тени на крыльце у входа в корпус, двое других играют в шашки, четвертый, усмехаясь, смотрит, как двое уголовных качают воду, приговаривая в такт движению рычага:

— Машкам,— Дашкам,— Дашкам,— Машкам...

Я подхожу ближе к стене.

— Конёв — ты?

— Не могу признать,— бормочет он, втискивая голову в решетку,— а — верно: я — Конёв!

— За что?

— По фальшивой монете... только я совсем случайно, просто сказать — вовсе ни при чем я тут...

Надзиратель проснулся, гремят ключи, точно кандалы, он дремотно советует:

— Нэ стой... дальшн отходи, у стена — нэлза.

— Середи двора — жарко, дядя.

— Вэздэ жарко,— справедливо говорит он, снова опуская голову, а сверху падает тихий вопрос Конёва:

— Ты — кто?

— Татьяну рязанскую помнишь?

— Эко! — словно обидясь, тихонько воскликнул он.— Не помню! Чать, мы вместе судились...

— И она? По монете?

— А как же? Только она — тоже случаем попала, все равно как и я...

Медленно шагаю вдоль стены, в душной тени ее; из окон подвала тянет запахом прелой кожи, кислого хлеба, веет сыростью, мне вспоминаются Татьянины слова:

«В большом горе и маленькая радость велика...»

...Новую деревню хотела построить на земле, хотела создать какую-то новую, хорошую жизнь...

Вспоминаю ее лицо, ее доверчивую, жаждущую грудь, а сверху торопливо падают на голову мне тихие, серые, как пепел, слова:

— Главный-то затейщик — любовник ее — попов сын, он в деле этом машинист... На десять годов заторкали его...

— А ее?

— Татьяну Власьевну — на шесть, и меня эдак же. Послезавтра отправляюсь я в Сибирь... попала мышь в подбойку! В Кутанси судили, у нас бы, в России, легше было... тут народишко дикой, злой народ, злодейский...

— Дети у нее были?

— При распутной-то жизни? Нет, какие там дети... Да и попович-то чахоточный, куда ему...

— Жалко ее...

— Еще бы те! — шипит Конёв оживленно.— Женщина, конечно, глупая, однако — прекрасная... просто сказать — редкая... Так до людей жалостлива...

— Ты тогда нашел ее?

— Это — когда?

— После Успеньева дня?

— Зимой настиг я ее, за Покров уже повернуло время, она около Батума у офицера старенького при детях была — жена у него сбежала, ну...

Точно курок револьвера щелкает сзади меня — это надзиратель хлопнул крышкой больших серебряных часов, спрятал их и, потягиваясь, зевает, широко распялив рот.

— Она, брат, деньги имела, она могла хорошо жить, кабы не распутство ее... да и распутство-то — по жалости...

Надзиратель говорит:

— Кончал гулять, эй...

— А ты — кто? Лицо я помню, а где видал...

Я иду в камеру, до ярости обиженный тем, что слышал, и, остановясь на ступени крыльца, кричу:

— Прощай, брат! Кланяйся ей...

— Чито крычишь? — сердится надзиратель.

В коридоре сумрачно, густо пахнет парашей; надзиратель размахивает ключами, и они звенят сухоньким, скупым звоном. Я поддразниваю его, чтобы заглушить скорбь в душе, но это не помогает, а он, отворив дверь камеры, говорит мне гневно:

— Сыды дэсять лэт!..

...Стою у окна. Через серые зубцы стены мне видно буйный бег Куры, сакли и дома, прилепленные на берегу ее, фигуры рабочих на крышах кожевенных заводов. Под окном ходит часовой, сдвинув фуражку на затылок.

...Память уныло считает десятки бесплодно и бессмысленно погибающих русских людей, и сердце угрюмо сжимается великой, неизбывной, на всю жизнь данной тоскою.

ЕДУТ...

Дует, порывами, мощный ветер нз Хивы, бьется в черные горы Дагестана, отраженный, падает на холодную воду Каспия, развел, у берега, острую, короткую волну.

Тысячн белых холмов высоко вздулнсь на море, кружатся, пляшут,— точно расплавленное стекло буйно кнпнт в огромном котле; рыбаки называют эту нгру моря н ветра — «толчея».

Кнсейными облакамн летнт над морем белая пыль, осыпая старую шкуну о двух мачтах, она ндет нз Перснн, от реки Сефндруда в Астрахань, гружеиа сухнмн фруктамн — кншмншем, урюком, шепталой; на ней едут человек сто рыболовов с «божьего промысла», всё верхневолжские лесиые мужнкн, здоровый, литой народ, обожженный жаркими ветрами, просолевшнй в горькой воде моря, бородатое, доброе зверье. Они хорошо заработалн, рады, что едут домой, и возятся на палубе, как медведн.

Сквозь белые ризы волн просвечнвает, дышнт зеленое тело моря; шкуна режет его острым носом, как плуг землю, н, по борта зарываясь в снега кудрявой пены, мочнт в холодной осенией воде косые клнвера.

Паруса вздулнсь шарами, трещат иа инх заплаты, скрипят рен, туго натянутый такелаж струнно гуднт,— все вокруг напряжено в стремительном полете, по небу тоже мчатся облака, между ннмн купается серебряное солнце; море н иебо странно похожн друг на друга — небо тоже кнпит.

Сердито свистя, ветер разносит по морю голоса людей, густой смех, слова песнн,— ее давно поют, но всё еще не могут наладнть стройно, как следует, ветер гонит в лица певцов соленую, мелкую пыль, н лишь нзредка слышен надорваный голос женщниы, он тягуче н жалобно выкрнкивает:

Змеем огненным...

Сладко н густо пахнет жнриым урюком, даже снльный запах моря не может убить этот аромат.

Уже миновалн Уч-косу, скоро будет Чечень-остров, места, издревле зиакомые русскнм,— отсюда еще киевляие ходнлн грабнть Табарнстан. С левого борта в прозрачной синеве осенн являются н нсчезают темные горы Кавказа.

Около грот-мачты, прнслонясь к ней шнрокой спнною, сндит богатырь-парень, в белой холщовой рубахе, в сииих персндскнх портах, безбородый, безусый; пухлые красные губы, голубые детские глаза, очень ясиые, пьяные молодой радостью. На коленях его ног, шнроко раскннутых по палубе, легла такая же, как он — большая н грузная,— молодая баба-резальщнца, с красным от ветра и солнца, шершавым в малежах, лицом; бровн у нее черные, густые н велнки, точно крылья ласточки, глаза сонно прнкрыты, голова утомленно запрокннута через ногу парня, а из складок красной, расстегнутой кофты поднялнсь твердые, как нз кости резаиные груди, с девственнымн сосками н голубым узором жнлок вокруг ннх.

Парень положнл на левую ее грудь шнрокую, чериую, как чугун, лапу длнниой узловатой рукн, по локоть голой, и тяжко гладнт добротное тело женщины, в другой руке у него жестяиая кружка с густым виином,— лиловые каплн внна падают на белую грудь его рубахн.

Около них завнстлнво кружатся люди, прндержнвая срываемые ветром шапки, запахнвая одежу; н жаднымн глазамн ощупывают распластавшуюся женщииу; через борта — то справа, то слева — заглядывают косматые, зеленые волиы, в пестром небе несутся облака, крнчат иеиасытные чайкн, осеннее солнце точно пляшет по вспененной воде — то оденет снневатыми теиямн, то зажжет иа ней самоцветные камни.

Люди иа шкуне крнчат, поют, смеются, иа куче мешков шепталы лежит большой бурдюк кахетинского внна, около него шумио трутся огромные бородатые мужнкн: все имеет стариииый, сказочный внд,— вспомннается возвращение Степана Разина нз персндского похода.

Персы-матросы, одетые в сииее, костлявые, как верблюды, дружелюбио оскалнв жемчужные зубы, смотрят на веселую Русь,— в сониих глазах людей Востока тнхонько тлеют непонятиые улыбки.

Встрепанный ветром угрюмый старик с кривым носом на мохнатом лице колдуна, проходя мимо парня н женщины, запнулся о ее ногу, остановнлся, ие по-старческн сильио взметнул головою, закрнчал:

— А, чтоб те ро́зорвало! Чего на пути легла? Бесстыжа рожа, оголилась как,— тьфу!

Женщииа н не пошевелилась, даже не открыла глаз, только губы ее чуть дрогиулн, а парень потянулся вверх, поставнл кружку иа палубу, положнл и другую руку на грудь женщины н крепко сказал:

— Что, Якнм Петров, завндно? Ну, айда, беда, мимо! Не зарься, не страдай зря-то! Не твоему зубу сахар есть...

Приподнял лапы и, снова опустив их иа грудь женщины, победно добавил:

— Всю Россию выкормнм!

Тут жеищнна улыбнулась медленно, и все вокруг словио глубоко вздохнуло, приподнялось, как одиа грудь, вместе со шкуной, со всемн людямн, а потом о борт шумно ударилась волна, окропнла всех солеиыми брызгамн, окропнла и женщину; тогда оиа чуть приоткрыв темиые глаза, посмотрела на старнка, на парня — иа все — добрым взглядом и не торопясь прнкрыла тело.

— Не надо! — сказал парень, отнимая ее рукн.— Пускай глядят! Не жалей...

На корме мужики и бабы нграют плясовую, охмеляющнй молодой голос виятио частит:

Мне не нанно богачества твово,
Не милее оно милого мово...

Стучат по палубе каблукн сапог, кто-то ухает, точно огромный фнлнн, тоико звеинт треугольиик, поет калмыцкая жалейка, и, восходя все выше, жеиский голос задорно выводит:

Воют волки во́ поле —
С голодухи воют;
Вот бы свекра слопали —
Он этого стоит!

Хохочут люди, кто-то оглушительио крнчнт:

— Ладно лн, снохачи?!

Ветер сеет по морю праздничный смех.

Большой парень леииво иакииул на грудь жеищнны полу армяка и, задумчнво выкатив круглые детские глаза, говорнт, глядя вперед:

— Прнбудем домой — развернем дела! Эх, Марья, снльно развернем!

Огиеннокрылое солице летнт к западу, облака гоиятся за ннм и — не успевают, оседая снежнымн холмами иа чериых ребрах гор.

ЕРАЛАШ

Прошла по полям весна, оставнв за собою голубые следы — лужи талого снега; расковала речку Студенец, бежнт речка мнмо села Тулунги, закидывая на черный масленый берег цепкне волиишки, смывая сухие стеблн подсолиухов,— в мутиой воде кувыркаются мохнатые комья корией.

Тепло вздыхает ветер, стремясь за рекой, покрывая воду золотистой рябью; иа берегу покачиваются таловые кусты, распуская почкн, иекоторые уже раскрылись,— на солице трепещут желтоватые мотыльки иоворожденных листьев.

Над бархатом черных полей, над серебрянымн пятнами луж стоит голубоватый парок,— влажное дыхаиие оттаявшей земли. Круг земной свободен, широк, уютио иакрыт шатром небес; над селом н полямн царствует апрельское солице,— иебо расцвело огиеиным цветом. Полдень; тепло н радостно.

За рекою, на взгорье, праздиичио высветлилось богатое село; на одном его коице встала в иебо колокольия,— плавится на солице золочеиый крест; на другом, красивой булавою, поднят миiарет мечетн. Вокруг колокольии вьются белые голубн — точно веселый звон превратнлся в белых птиц. В селе тихо н пусто,— только голуби да колокольиый звон, а людн ушли иавстречу нкоие богоматерн,— ее несут в город нз древиего монастыря за тридцать верст от Тулуиги.

Трое рослых татар, с заступамн в руках, молча уравиивают упругую землю — съезд к парому. Один вознтся иа самом пароме, расковыривая ломом доскн, еще один — мешая ему — метет паром измызгаииой метлой, ими тнхо комаидует статный юиоша в лиловой тюбетейке — у него очеиь белое лнцо, большие грустные глаза и ярко-красные губы. Я снжу иа скамье у ворот постоялого двора, любуюсь тихо-умиой работой татар, голубями,— иа душе у меия удивнтельно хорошо, точио я сам сделал все это: солнце, иебо, землю н все, что на ней. Недурно сделал и тнхоиько радуюсь.

Постоялый двор держит Устии Сутырии, мещаиин из Темрюка, маленький человечек, суетливый, как цыплеиок; ему помогает сестра, грудастая мелкозубая баба с плутоватыми глазами, работиица, рябая и огромная, и такой же огромиый, рыжебородый татарии; под этимн двумя — земля гнется.

Все оии начали шуметь н вертеться с рассвета: пекли, варили, ругалнсь, устраивалн столы иа улнце, под окнами шнроко развалившейся пятнокоииой избы. Я прншел сюда вчера дием, а вечером иаписал Устниу ядовнтое прошение иа мужнков, которые украли у иего жмыхи и убнлн борова,— прошеиие очень поиравнлось Сутырниу, особеиио пленнлся он словамн: «А по сему и прииимая во винмаиие».

— Круто завннчеио! — восхищался ои, осматривая меия бойкимн глазами веселого жулика.— Ты, пареиь, остаиься у нас иа завтрее,— завтра веселый день у нас, владычнцу встречаем, ералаш будет!

Теперь Устни, босой, в снием жилете поверх кумачной рубахи, оводом носится по двору, по улнце и комаидует, сбнвая с толка всех свонх помощииков.

— Ясаи,— слепой ты али что? Как ты козлы уставнл? Тыщу лет живете, шайтаны... Дарья,— стой,— куда весы, кто велел?

Со двора павой выходит сноха Устина, Марья, сниеокая вдова,— муж ее два года тому иазад, в деиь знмиего Николы, убит в честном бою с татарами иа реке Студенце. Вдова одета праздинчио: на ней снинй жакет, желтая, с зеленымн цветамн, юбка, козловые башмаки с подковами и пуицовый платок иа светлых волосах. Устии, поперхнувшнсь словом, глядит на иее, открыв рот, точио впервые увидал, глядит н восхищенно бормочет:

— Выпялнлась,— дама козырей!

И тотчас же неистово орет:

— Куда те поманило, а?

Надвигаясь прямо на него, она спрашивает сочным голосом:

— Ну, а што?

— Ер-ралаш,— отмахиувшись от нее, кричит Устии и убегает во двор.

Юиоша татарии поправил тюбетейку н вынул из-за пазухн кожаный кисет; женщина, подняв сзади юбку иа высоту спины, села рядом со мной, вздохнув:

— Тепло!

О том, кто я, откуда, куда иду,— оиа выспросила меня еще вчера, н теперь ей не о чем говорнть. Сидит и дышит, равиомерио прнподиимая высокую грудь, снине глаза скошеиы на татарниа, он посматривает на иее и курит маленькую трубочку. Ласково плещется река, звеият невидимые жавороикн. На дворе иепрерывно гудит басовитый голос сестры Устииа, надрывается его тоикий голосок. Средн грязной дороги, на сухом сером островке, сндит собака и, вывесив язык, смотрнт, как в зеркало, в лужу. Жарко ей иа солнце, а уйти, виднмо, лень. Исступлению свистят скворцы, где-то далеко за селом щелкает плеть пастуха, а в селе тоико плачет ребеиок. Легко, точно детскую коляску, Ясаи выкатил со двора телегу на железном ходу, накрыл ее доскамн, разостлал на доскн рядно и, подняв оглобли, прнстраивает к инм весы. Юиоша тнхонько говорнт ему что-то.

— Йок,— мрачио ответнл Ясаи.

— По-нхиему — ёк, а по-нашему — иет, просвещает меня соседка н спрашивает работиика:

— Чего он?

— Не сиай.

— А сказал — иет?

— Ты сам снайт.

— Чего такое? — вдруг точио с крыши соскочнл Устии.

— Ннсява.

— Тыщу лет живете, а говорить по-человечьн ие можете... Марья, что ж ты сидишь, побойся бога!

— Ну, а што?

— Дак — сахар же надо колоть!

— Наколола уже.

— Наколола, наколола...

Передразиил и убежал, чмокая подошвамн по сырой земле. Жеищииа, усмехиувшись, толкнула меня локтем.

— Ревнущнй!

— Ну?

— Бяда!

И, вздохиув, говорнт:

— Совсем окаянный. Полугода не мниуло, как сыиа схороннл, а уж говорит мне: хошь, говорит,

жить у меня, дак ты и спи со мной, а нет — уходи... Вон какой!

— Лакомый. Ну, а вы?

— Чего?

— Не ушли?

— Куда?

— К родным?

— Сирота я.

— На работу!

— Из богатого-то дома? Ишь ты...

— Коли не стыдно, так — ладно!

— А чего еще? Иде ж стыд? Тут — скрозь они, снохари. Особо у казаков. У них жалнерки эти — все под свекром.

Молодой татарин идет на паром, женщина беспокойно двигается, толкая меня, хрупко шумит ситец. От ее волос крепко пахнет гнилым жиром,— это, должно быть, помада.

— Хорош молодец,— говорю я о татарине.

— Это который? — невинно спрашивает она.

— А вот, на которого вы смотрите.

— Али я на него гляжу? На что он мне нехрись!

— Разве вы всегда только на то смотрите, что вам нужно?

— А ведь и то правда! — подумав, говорит она и почтительно заглядывает в лицо мне.— Ну, ну... что значит, когда грамотей! Гляди-ка ты как...

Вдали, на краю степном, являются, одна за другой, какие-то пестренькие шишки и тихонько катятся по черному бархату земли, непонятно исчезая в светлом блеске луж. Татары кончили работать, пятеро собрались на пароме, юноша незаметно, боком както, приблизился к нам.

— Его — Мустафой зовут,— бормочет женщина.— Богатый, у отца маслобойня, жмыхом торгуют, яйца скупают...

— Женат?

— Вдовый, с того года. Женили на малолетке, так она родами и померла.

Распустив толстые губы в улыбку, она говорит:

— Кабы не татарин...

— Что ж тогда?

— Сам знаешь...

Она белая, румяная, сытая. Ее томит весенний хмель, синие глаза подернуты влагой и смотрят жалобно. Весна зажгла в этом полнокровном теле свои жадные стремления — женщина тлеет на солнце, как сырое полено в костре. От нее исходит некий пьяный чад. Не очень ловко мне рядом с ней, но и уйти не хочется. Ей — жарко. Медленно расстегивая тугие крючки жакета, она смотрит на свою грудь в броне жесткого ситца и спрашивает меня:

— В твоей стороне татары есть?

— Живут.

— Везде они есть! Чать, наших-то все-таки больше, а?

— Побольше. А что?

Она сумрачно говорит:

— Уж крестились бы все в одну веру, без забот...

— Для вас какая вера приятнее?

— Своя. Спросил тоже!

— Какая — своя?

— Ну — наша! Христова!

Она смотрит на меня сердито и, видимо, хочет сказать что-то неприятное мне, но вдруг лицо ее изменило выражение, и она говорит невесело:

— Вера у нас — лучше, а мужики — хуже. Татаре вина совсем почти не пьют, да и не дерутся.

— А — многоженство?

— Ну, это старики богатые жадуют, а молодые редко!

Помолчав, подумав — она решительно говорит:

— Бабам это очень мешает — разноверне: татаре, мордва, староверы разные, штунда.

— Мешает?

— Конешно. Бабам все мешает.

И, снова помолчав, родит еще мысль:

— Вот говорят: бог для всех один.

— Да?

— А люди — разные.

— Так что же?

Она сердито бормочет:

— Привязался! Что да что...

Молодой татарин кружится по берегу, глядя в землю, точно он деньги потерял и все ищет их. Он — точно теленок, привязанный невидимой веревкой на невидимый кол. Женщина, исподлобья поглядывая на него, смешно облизывает губы.

На полях теплая, черная земля неустанно и обильно родит людей; они являются, точно суслики из нор, и пестрой, рассеянной кучей ползут к селу. Сзади их, далеко, на мутно-синей полосе неба сверкает золото хоругвей,— точно вспыхнули какие-то дневные звезды. Течет над землей тихий, сочный гул,— от него звон жаворонков становится еще задорнее и радостнее колокольный звон.

Поет земля.

Выскочил Устин, смазанный маслом, в ярко начищенных сапогах, по животу пущена серебряная, кучерская цепочка; он смотрит из-под ладони в поле и, без всякой надобности, надрывно кричит:

— Идут! Марфа — идут! Марья, что же ты все сидишь, а? Ясан, где ж ты? А, господи...

Он весь дрожит, точно лететь собрался, а сзади на него лезет испуганный Ясан и тоже кричит:

— Гирь бул по пуд четыр, бачка, стал — тыри! Куда девал — не знай!

— Бултыри, сталтыри,— орет Устин, топая ногами,— дьяволы! Тыщу лет живете... Прохожий, вот — гляди: тыщу лет живут!

Со двора вышел черный петух, приподнялся на ногах, взмахнул крыльями и возгласил:

— Реку-у...

— Марья, гони его, задавят!

— Гони сам...

— Отчего?

— Что мне — и в праздник отдыху нет?

— Пропаду я с вами!

К перевозу шариками катятся мальчишки, быстро идут девицы, подобрав юбки до колен, в черных башмаках жирной грязи.

— О всепетая мати,— глухо несется с поля; там, над мохнатыми головами людей, сверкает, ослепляя, квадратный кусок золота, весь облеплен солнцем. Впереди иконы едет седобородый урядник верхом на белом коне, обрызганном грязью.

Краснолицая, веселая баба звонко кричит:

— Дядя Юстин, на степи, с версту от балки, мертвяк лежит, совсем раскис...

— А ты — ори больше, дура! Наш?

— Не знай...

— Ну — царство небесное, только и всего... О господи, владыка пресвятая... Марь, становись к весам, гляди в оба. Ясан,— где сестра?

Тысячная толпа темным валом катится к речке, готовая запрудить ее, лезет на паром, толкаясь и

шумя, иад нею колеблется нкона, реют хоругвн и, золотом в куске черной руды, сверкают ризы священников. Марья стоит бок о бок со мною, крестнтся, вздыхает, шепчет красными губами:

— Милая, сердешиая... спасн-помилуй-сохрани... Мати господия...

И деловнто говорнт мие:

— Постой у весов с Ясаном, постереги, пожалуйста, как бы гирн не украли,— я отбегу на минутку на одиу...

Икону внеслн на паром, он дрогнул и отделился от берега, разукрашениый ярким ситцем, кумачом и золотом.

— Тнш-ше! — крнчнт урядннк, а моиахи, толстые, точио караси, стройио поют:

— О всепетая мати...

На реке, вокруг парома, полощутся яркие пятиа отражений, по улице мечется, растопырнв крылья, черный петух, дородиая Марфа сладко распевает:

— Оладышки да пышкн, покупай, мальчишки, с патокой да медом...

Сзадн меия кто-то говорит вполголоса:

— Лежнт он вверх грудью, зиаш, голова-то по ухн в земле затоиула, а рот раззявил,— таково лн страшио,— беда!

— Эй,— крнчит Устни, хватая меня за плечо,— где Марья?

— На пароме, кажись.

— На пароме?

— Он смотрит из-под ладоии на реку и бормочет:

— Ералаш... А посему...

Богомолы тесно окружают телегу, на которой Ясан н Марфа торгуют хлебом, бараикамн, жареным мясом, оладьями; на дворе за столом люди пьют чай, им служит работница, безмолвно, точно немая, а на улнце дудит в дудку слепой старик с ястребнным иосом, н поводырь его, черноволосый мальчик, звонко крнчит:

Ой, дудка моя,
Ух, я!
Весялуха моя,
Ух, я!

Над землей стоит весениий гул, победно звучат голоса девиц и женщнн; задореи смех, бойкн прнбауткн, благозвонно поют колокола, н надо всем радостно царнт пресветлое солнце, родоначальннче людей н богов.

Сияет солнце, как бы внушая ласково:

«Прощается вам, людишки — земиая тварь,— все прощается,— живите бойко!»

Вечер.

С рекн веет холодом; мутноокие туманы вздымаются на полях н белой толпою плывут к селу. Из-за края степи выкатнлся в небо оранжевый жернов луны, заря играет в зеркалах вешней воды. День промчался на золотом коне, оставив в душе моей сладкое утомленне, насытив ее радостями,— я точио в бирюлькн наигрался,— хорошо! Сижу во дворе, на телеге, сыт по горло, в меру пьян.

Сутырин разлегся иа соломе и говорит похмельно:

— Собнраются бнть меия мужики, а посему н тебя, наверно, вздуют! Уж спрашивалн Степаху, работиицу: который тут у вас прошенне составлял? Чуешь? Тебе бы, того... уйти от греха, к иочн-то...

Молчу, уходить не хочется.

— Дремлешь?

— Нет.

— Выпнть мы с тобой можем, однако же! — хвастается Устин н шмыгает носом.— Лешне, положнлн мертвеца по эту стороиу — перевезли бы на ту. Ему в селе место, около сборной, а не подле меня.

В сыром воздухе тошнотворно пахиет гиилым мясом. На селе девки водят хоровод, ясно слышны задорные слова песии:

А кто вдовушку полюбит —
Вечное спасенье!
А кто девушку полюбит —
Всем грехам прощенье!

— Ф-фу,— вздыхает Устин,— тяжело мне несколько...

Встретнв нкону, он немедленно н тяжко напился, отколотнл сестру, укравшую нз выручкн два целковых, задавнл чериого петуха и уснул, но к вечеру проснулся, как встрепаииый, опохмелился и снова беспокоится:

— Марью ие видал?

— Нет.

— Врешь!

— Зачем?

— Мало ли зачем! Без вранья не прожнть. Человек безо лжн,— как петух без перьев,— лысый!

Но, подумав, говорит:

— Лысых петухов — не бывает. Сманнла меия баба эта, ей-богу! Коиешно — грех, ну — она вдовая, я — тоже. Необыкновенная же до чего! Просто — смерть! А мне, всего-иавсеё, сорок девять годов... Хороша баба?

— Хороша!

— То-то вот н оно! Дьявол! На село, вндно, улнзиула. Тут есть один татарчонок... ноги ему перебить надо!

Он выскочнл нз телеги, точио уколотый, и побежал со двора к реке, растрепанный, нечесаный, с соломой в волосах. Покурнв, я тоже пошел за ннм, ио ои уже колыхался посредине рекн, в маленькой лодке, часто размахивая весламн.

У парома, на сырой, плотно утоптанной земле лежал мертвец, высунув нз-под рогожн ногн в нстоптанных лаптях н огромную, с отвалившимся большнм пальцем руку; над ннм сидел, покуривая трубку, маленькнй старичок, с палкой на коленях.

— Не прнзнали — что за человек?

Старик помотал головою, указывая пальцамн на свон ушн. Глухонемой, вндно. Паром — на той стороие, лодок нет,— не попадешь в село!

Я пошел берегом протнв течения рекн, подальше от мертвеца, к остаткам моста, сорванного половодьем, сел на сухое место под кустамн, думая о жизнн. Забавно жнть, н отлнчное удовольствие — жизнь, когда тебя нзвне никто не держнт за горло, а изнутри ты дружески связан со всем вокруг тебя.

Село шумно ликует; слышно, как двое пьяиых налажнваются петь; заливчато н звонко хохочет девнца, надрывается гармоннка, орут мальчишкн. Благодушие до того одолевает, что даже спать хочется.

По реке иеумело скользит челиок,— точио длнная, чериая рыба извнвается вперед хвостом. Тихо булькает весло, опускаясь в масляную воду. Добравшись до берега, шагов на десять выше меня, челнок прячется в кусты, и сквозь шорох голых веток о борта я слышу зиакомый голос Марьн:

— Иде загряз по сю пору? Я ждала, ждала...

Кто-то тихонько говорит непонятные слова, и вновь голос женщины:

— У, нехрись! Да постой, не тискай!

Целуются, и так смачно, что, наверно, в селе слышно.

— Ой, Мишенька... Ой, милый, увел бы ты меня куда-нибудь!

«Бедняга»,— думаю я о Мустафе, полагая, что Мишенька — это не он, но женщина говорит:

— Хрестись ты, пожалуйста!

— Ныльза!

— А то — пришиби моего-то свинью...

— Гырех пришибать ему...

— Ну, еще... А вот эдак-то, со мной, не грех?

Тихо. Только кусты, колеблемые течением, шуршат о челнок. Тяжелая луна, поднявшись на сажень над землей, больше не может и снова опускается к степи, лениво, как Марья.

— Вон Марфа живет же с Ясашкой, а я — хуже ее, что ли? И ты его не хуже.

— Нисява!

— Тебе всё — ничего.

Плеснулась рыба, по звуку — лещ, он всегда шлепается о воду плашмя. Паром идет, как будто часть берега оторвалась и островом перегородила Студенец. В селе ударили собаку, она визжит отчаянно и жалобно.

— Кабы извести его, так и Марфа довольна будет, тогда все хозяйство — ей!

— Турма будит, острог тибе!

— Эхма, ведь — как хочешь, а — не доскочишь!..

— Яса-ан,— кричит с парома Сутырин.

В кустах беспокойно завозились, зашептались, а я, повинуясь желанию созорничать, громко говорю:

— Не бойтесь, я его задержу...

— Ух,— испуганно вздыхает женщина, я вижу над кустами белое пятно ее лица.

— Прохожий, ты?

— Я.

— Ой... Господи!

Я иду прочь, но через несколько шагов она догоняет меня и, застегивая на ходу кофту, заправляя под платок волосы, горячо шепчет:

— Ты уж молчи, милый, я тебе за то полтинику дам, молчи, родной, а?.. Ты — молодой, должен понимать, какое это все... А?..

Уверяю ее, что буду молчать, как мертвец, но говорю:

— Что ж ты, умница, не нашла другого места для эдаких разговоров?

— А ты — не стыди меня,— шепчет баба, прижимаясь ко мне.— Уж, конешно, грешница я... да — сам ты говорил — красивый он! А что татарин — так у нас вон попов сын, доктор, на французинке женат...

— Да я тебе не про это, бог с тобой! А вот уговаривала ты его, чтобы свекра пришибить...

— Да какой он мне свекор, коли у меня мужа-то нет? — угрюмо говорит она и вдруг предлагает просто, как работу:

— А может, ты возьмешься, пристукнешь его? Слушай-ко: чего тебе бояться? Сегодня ты здесь, а завтра — никто не знает где. А я бы тебя уж так-то ли поблагодарила! А он тоже,— он, гляди, богатый! А?

Смотрю в ее милое лицо, размалеванное природой самыми яркими красками, смотрю в синие глаза, большие, выпуклые, точно у куклы. Такая лубочная, но чистая красота, сильная и спокойная, как весенняя земля, нагретая солнцем...

— Я этакими делами не занимаюсь.

— Да ведь — один раз! — мягко убеждает она.— Стукнул да ушел, только и всего!

— Не подходит это дело для меня, нет!

— Ой, господи! Да ты — подумай...

— Мар-рь! — визжит Устин Сутырин, качаясь в сумраке впереди нас, смачно шлепая по грязи и размахивая руками.

— Это кто? Прохожий? А-а... Ты — чего? Ну — ладно! Я тебе, нижегороцкой, верю. Ха! А посему и — кончено! Дави их!

Он хорошо пьян, как раз в меру,— удали много, а на ногах крепок.

— Сейчас Коська Бичугин в ухо мне закатил: «Не жалуйся, кричит. Ты нас грабишь, мы не жалимся». Ты меня, прохожий, на нехорошее дело подбил, да! Это, брат, тебе даром не пройдет. Они тебе покажут — Коська с Петром, они тебя угостят тяжелым по мягкому.

— Стой-ка,— говорю я,— да ведь ты сам же просил меня жалобу написать. Просил али нет?

— Мало ли чего я, по глупости, прошу! А ты — не поддавайся. У тебя плачут, просят, а ты — реви, да не давай! Марь,— так ли?

Он обнял ее за плечи и, увлекая в грязь, на средину дороги, просит:

— Давай запоем, ну!

Закрыл глаза, закинул голову и тоненько начал пронзительным тенором:

Эх да и ой... и вот — а-а...

Марья, положив руку на плечо ему, выгнула кадык, уверенно подхватив хорошим альтом:

Да вот и по дороге — эх...

— Верно!

Эй, скрозь высо-окие хлеба...

— Поддерживай, нижегороцкой. Я татарам не верю!

Шла молодка-а,—

поет Марья.

Он-на в синем шушуне — а-э!

У ворот постоялого двора стоит Марфа, упираясь руками в крутые бока, похожая на огромный самовар.

— Эх,— кричит она,— загуляли наши!

На селе визжат, свистят, задорится гармоника, кто-то большой тяжко бьет землю,— гул идет через черную дорогу реки.

За плечом Марфы смущенно улыбается рыжебородый Ясан.

— Родные мои,— растроганно кричит Устин Сутырин,— люблю я вас до конца жизни! Марь,— действуй!

По-над полем, ох...
Золот месяц гуляе-э,—

поет Марья,— хорошо поет, душевно!

В поле над туманами сверкают звезды, луна коснулась краем до черной степи и замерла, стоит недвижимо, точно слушая праздничный шум милой грешной земли.

Сутырин, захлебываясь воодушевлением, выводит:

Ай да молодка
Путь-дорогу не знае — э-эй!

СВЕТЛО-СЕРОЕ С ГОЛУБЫМ

Сухой, холодный деиь осеии. По двору тосклнво мечется пыльиый ветер, летают крупные перья, прыгает ком белой бумаги; воздух наполнен шорохом и свистом, а под окном моей комиаты торчит ннщнй и равнодушно тянет:

— Господи, Иисусе Хрнсте, сыиа божню, помннлуй нас...

Лицо у него заржавело, стерто, съедеио язвой, голый череп в грязиых струпьях; он очень под стать н грязному двору, и больиому дню.

Ветер треплет его лохмотья, вздувает пазуху, бьет его пылью по ржавой щеке, по уху. Нищий мотает головою н гнусаво выводит, с упорством шарманкн, унылый мотив:

— Благодетели н кормнлнцы, мнлостынку, Христа ради, подайте...

— Пошел к черту! — крнчит из окиа моя соседка, девнца веселой жнзни, маленькая, с подведеиными глазамн н румяицем от ушей до зубов.

Ннщий что-то урчит, ветер относнт его слова, ио я слышу медиый звон большой монеты, упавшей на камеиь двора, и сердитый голос девицы:

— На, подавись, подлец!..

Странно,— в голосе ее звучнт обида, хотя обижает сама она. Я живу рядом с нею третьи сутки н уже дважды слышал, как эта веселая девушка днем поет трогательные песни, а по ночам плачет пьяиыми слезами.

Сегодня она пришла домой иа рассвете н тотчас разбудила меия возией, хриплыми рыдаинями.

— Эй, сударыня! — крикнул я в щель переборкн между иею н миой.— Вы мне мешаете спать...

Помолчав с минуту, она сиова стала всхлипывать и трубнть носом, толкая в переборку локтями и пяткамн, а потом начала ругать меия, тщательно выбнрая самые иеудобные слова.

— За что? — спросил я.

Она убеждеиио ответила:

— Вы все — собакн!

Но, удовлетворнв себя этим, позвала меня:

— Идн ко мне!

Я ие успел поблагодарить ее за любезность, ибо оиа тотчас же добавнла:

— Нет, не ходи, не надо, а то поутру Мишка прндет, так он и тебе и мне...

— Это кто — Мишка?

— Мой кредитный. Тоже сыщнк.

— А почему тоже?

— Да ты — кто?

— Газетчик, писатель...

— Письмоводитель? Тоже, подн-ка, нз полицни...

После этого оиа усиула, а утром, просиувшись, долго вздыхала, потом безуспешно учнлась свнстать, что-то грызла — сахар нли сухарь,— иакоиец постучала в стену:

— Сосед!

— Доброе утро...

— Чего-о?

— С добрым утром, говорю...

Она фыркиула:

— Скажите пожалуйста, какой вежливый!.. У вас нет... ваксы?

— Нет.

— Ну, ие иадо... Ах, господи!

— Что вы?

— Скучио. Вас как зовут?

— Иегуднил.

— Вы разве жид?

— Нет, русскнй...

— Ну, значит, врете...

Поговорнв в этом тоие еще несколько мннут, оиа снова захрапела, точио ее схватили за горло, н просиулась уже незадолго до появлення инщего... Просиулась и, вскочив с постелн, запела веселым голосом:

Самара, ты — город богатый,
А я между тем сирота.
Самара, тобою, проклятой,
Разбита о счастье мечта...

Было интересно: почему она, подав милостыию, обругала нищего? Я спросил ее об этом сквозь переборку,— оиа ответила, подумав:

— Захотела, вот н обругала! А что еще!

Ветер за окном беснтся все яростиее, катает по двору соломеиный чехол с бутылкн, перебрасывает по камиям нитяиый носок, гоняет почтовый конверт, солнт пылью стекла окна. Над окиом, иа кариизе, униыло воркует голубь; раздражая, трещнт какая-то щепочка; кажется, что сердце умирает под мелкой, холодной пылью.

Стена против окошка скупо оштукатуреиа грязиоватой известью; кое-где нзвесть отвалилась, обиажнв красиый кирпич. Небо над крышей тоже иебрежно оштукатуреио сероватыми облаками, между инмн — глубокие сннне ямы, и оттуда льется в душу тоска.

— Сосед,— кричат из-за переборкн,— идите чай пить!

— Благодарю вас, нду...

Комиата — меньше моей, и хозяйка ее — наполовнну меиьше меня. Но она — бойчее гостя, смотрит на иего смело; глаза у нее действительно веселые, голубенькне, а рожнца, с которой она чнсто смыла румяиа и прочне краскн,— миленькая, чистая, только очеиь бледиая.

— Какой у вас смешиой иос! — говорит оиа, присматриваясь ко мне.

Молчу, улыбаясь, и ие нахожу ответа, потом догадываюсь: сама она — курносая н, должно быть, завндует мне.

Одета она ослепнтельно: на ней красная кофточка, зелеиый галстук с рыжнми подковами, юбка цвета бордо; это велнколепне увеичаио серебряиым кавказскнм поясом, а иад ушами, на гладкнх волосах — баитнкн оранжевого цвета.

— Садитесь, пожалуйста,— говорнт оиа солидно.— Внакладку пьете или впрнкуску?

— Все равно.

Она поучнтельно замечает:

— Кабы было все равно, так бы люди ие жеиилнсь!

В окна стучит пыль.

Беседуем.

— Вы — сердитая?

— Я-то? Как прндется. А что?

— Да вот — нищий!.. Интересно знать: за какую виину вы его обругали? Мнлостыию подалн, а обругали...

Ее полудетское, простенькое лицо нскажается серднтой, брезгливой гримасой; девушка смотрнт иа меня в упор,— брови ее дрожат, и она говорнт звеиящнм голосом:

— Его бы надо кирпичом по башке,— вот как!
— За что?
— За то!
— А все-таки?

Стукнув рукою по столу, она сердито говорит:

— Не приставайте! Это даже невежливо — прийти в гости и приставать! Я вас вовсе не знаю, а вы спрашиваете — про что не надо...

С минуту она молчит, а я очень смущен и желал бы уйти из этого чулана, но хозяйка его, заметив мое смущение, примирительно улыбается:

— Ага, испугался... Нет, ей-богу же... Спрашиваете вы, а это вовсе и не интересно мне. Я его видеть не могу, жулика! Он ведь тот самый подлец, который сосватал меня одному тут судье... Мне тогда еще пятнадцати не было... без четырех месяцев пятнадцать лет, а он уж... Разве это хорошо? А еще товарищ папашин, вместе лакеями служили, в одной гостинице. Хорошо, что папаша помер, ничего не зная, а то бы убил он меня. Мамаша белье стирала на гостиницу, а я носила... Ну, конечно,— девчонка! Пригласили меня в номер, напоили,— ничего не помню! Проснулась — господи! — как раздавленная! Все этот виноват: он устраивал... «Двадцать пять рублей, говорит, дадут тебе, жить весело будешь». Видеть не могу его,— честное слово! А он — хоть бы что! Ходит ко мне, просит: будто хорошо сделал, а я должна всегда его благодарить. Удивительно даже — какое бесстыдство в человеке! Раньше, когда я у судьи на содержании жила, так этот ко мне каждый день почти шлялся: то рубль дай ему, то полтинник. В карты играет, жулябия несчастная, даже в тюрьму сажали за карты, в тюрьме он и захворал, подлый. Я, бывало, говорю ему: «Ах ты, бесстыдный злодей, что ты ко мне ходишь? Ведь это через тебя я несчастна и даже совсем погибшая!» А он — ничего! «Полно-ка, говорит, Таня, не сердись, мало ли кто в чем виноват,— всех не накажешь!» Подумаю я — а ведь и верно: разве всех накажешь, которые виноваты? Ну, и завью горе веревочкой...

Виновато улыбаясь, она смотрит в лицо мне: потом как-то вдруг из ее светлых глаз выкатываются частые, мелкие слезинки, и, продолжая улыбаться, она говорит сконфуженно:

— Вот видите! Вогнали меня в слезы... Давайте лучше о другом о чем-нибудь поговорим...

Беседуем о другом. Свистит ветер, бросая в стекла окна пыль. Спрятав руки в карманы, сжимая кулаки, я думаю:

«Всех не накажешь, черт вас возьми! Ловко устроено — не накажешь...»

А девушка мечтательно говорит:

— Красный цвет не к лицу мне, я знаю, а вот светло-серый или бы голубенький...

КНИГА

В парке, у стены маленькой старой дачи, среди сора, выметенного из комнат, я увидел растрепанную книгу; видимо, она лежала тут давно, под дождями осени, под снегом зимы, прикрытая рыжей хвоей и жухлым прошлогодним листом. Теперь, когда весеннее солнце высушило ее страницы, склеенные грязью, уже нельзя было прочитать, о чем говорят поблекшие линии букв.

Я пошевелил ее носком сапога и пошел дальше, думая о том, что, может быть, это — хорошая, сердечно написанная книга и немало людей, читая ее, волновались, спорили, учились думать; может быть, кого-то она оплодотворила новой мыслью и многих, в холодные часы одиночества, согрела своим теплом.

Мне вспомнилось, каким добрым другом была для меня книга во дни отрочества и юности, и особенно ярко встала в памяти жизнь на маленькой железнодорожной станции между Волгой и Доном.

Станция стояла в степи, скудно покрытой серыми былинками, в пустоте и тишине, нарушаемой зимою унылым пением снежных вьюг. Летом на станции ныли комары, в рыжей степи насмешливо и тихо свистели суслики, в небе, мутном от зноя, молча кружились коршуны и белые луни.

Бывало, смотришь с перрона в степь: над пустою землей, в свинцовой дали струится марево, на бугорках, около своих нор, стоят суслики, приложив к остреньким мордочкам ловкие передние лапки, точно молятся. А больше никого нет,— дышишь пустотою, и сердце жалобно сжимается от скуки.

Лишь изредка мохнатые чабаны, похожие на святых отшельников с картин, проведут с юга на север отару овец и в тишине степной взвиваются их странные крики:

— Р-ря-о! Р-ря-у...

Подует ветер, осыплет станцию мелким горячим песком, принесет печальное клохтанье дрофы, свист грызунов,— и снова тихо, и жизнь кажется бесконечным сном.

Где-то, в степных балках, прятались казачьи хутора; позади станции, верст за пять, к Волге, приткнулась на неплодной земле деревня — Пески; оттуда к нам зимою приходили бойкие девицы очищать от снега станционные пути, а по ночам на станцию являлись их братья и отцы воровать щиты на топливо и товар из вагонов.

Особенно тяжко жилось в жаркие летние ночи: в тесных комнатах — нечем дышать, духота и комары не позволяют уснуть; все население станции вылезало на перрон и неприкаянно шлялось повсюду, заводя от скуки ссоры, раздражая дежурных воющими зевками, жалобами на бессонницу и нездоровье, нелепыми вопросами. По двору, точно лунатики, ходят женщины в белых одеждах, босые, с растрепанными волосами; курится костер, прикрытый серым тальником; в безветренные ночи дым костра встает к небу серым столбом, не отгоняя комаров,— они родятся в мертвых заводях Волги и тучами летят сюда в сухую степь, на муку людям и на свою гибель.

В глухой тишине, далеко где-то и точно под землею, рождается тяжелый шорох, растет, окутывает станцию железным гулом; поют рельсы, трясутся лампы, кто-нибудь дремотно говорит:

— Тринадцатый идет...

На краю степи, в черную кожу тьмы вонзился красный луч, ранил ночь, и по земле растекается влажное пятно света, напоминая кровь. Медленно приближаясь, луч двоится, и вот он стал похож на

чьн-то желтые жуткне глаза, онн дрожат в гневном возбуждеиии,— к трем домнкам стаицин ползет нз глубины ночи иекое злое чудовнще, угрожая гибелью. Знаешь, что это — товарный поезд, но хочется представить себе другое, хотя бы страшиое, но другое.

Пассажирскне поезда, пробегая мнмо стаицни, только усиливают впечатлеине неподвнжиостн жнзнн, углубляют созиание отрезанностн от нее. Остановится поезд на мннуту — из окон вагонов, как портреты из рам, смотрят иа тебя какие-то людн; вспыхнвают, точно нскры в темиоте, загадочные глаза жеищии, трогая сердце теплымн лучамн мимолетных улыбок.

Сердитый свисток — н в облаке пара поезд скользнт дальше, лнца людей в окнах вагонов странно нскажаются, вытягнваясь вбок, все в одну сторону.

К этому мелькаиию жнзни быстро привыкаешь; мимо тебя ежедиевно проезжают одии и те же машиинсты, кочегары, кондуктора; кажется, что и людн всегда однн н те же,— оии сталн иеразличнмы, точио комары.

На станцни служило однинадцать человек, четверо семейных. Все жилн точно под стеклянным колпаком, о каждом было нзвестно все, чего не нужно зиать о человеке, н каждый знал обо всех остальных все, что хотел н не хотел зиать. Все ходнлн друг перед другом словно голые; человек прн первом удобном случае публично выворачивался наизианку, понуждаемый скукой к нечнстоплотным откровенностям и покаяиням.

Игралн в карты, страшно пнлн водку, порою, обезумев от пьянства н тоски, поражалн друг друга днкнмн выходками.

Однажды вечером сторож Крамареико, молодой, красивый мужнк, подошел под окно квартиры смазчнка Егоршина, лысенького и богомольного старнка, женатого на снроте казачке, женщнне большой и молчалнвой,— подошел, разделся доиага и стал орать в окио:

— Егоршин, выходи, собака! Выходи, раздевайся, пусть жеиа твоя видит: который лучше!

Казачка, стиравшая белье, выплеснула на грудь ему ковш кнпятку; он завыл н убежал в степь, а Егоршин иачал бить жену гаечиым ключом. Люди отняли женщиину, хотелн отправить ее в город, в больнину, но казачка отказалась.

— Не надо, сама виновата, зачем ласково смотрела на него,— говорила она, лежа иа дворе, обмотанная кровавымн тряпками, широко открыв снние глаза н облизывая губы малеиькнм языком.

И дважды спросила тихоиько:

— Больио я его обварила?

— Ой, бесстыжая,— шептались женщиины и девицы.

Егоршни заперся в квартире и молился, стоя на колеиях в луже мыльной воды. Людн смотрелн на него в окно и ругалн старнка.

Утром иа другой деиь Крамаренко взял расчет н пешком ушел со станцнн куда-то к Дону; шел он вдоль лниии дороги странно прямо, высоко подияв голову, как солдат на параде.

А через несколько дней н Егоршин перевелся иа другую станцию.

— Это, брат, не поможет тебе,— сказал ему Колтуиов, помощнник иачальника стаиции, прощаясь с иим.— Тебе в землю надобно переводнться; от горя иикуда, кроме как в землю!..

Это был странный человек,— Петр Игнатьевнч Колтунов. Всегда полупьяненькнй, болтлнвый, он, должио быть, имел какне-то свои догадкн о жнзни, но выражал нх неясно, н даже казалось, что он не хочет быть понятым.

Сухонькнй, тощий, он постоянно встряхнвал внхрастой, рыжей, головой н, прнкрывая серые глаза золотнстыми реснннцамн, опрашивал нас — меня, весовщнка стаицин, и товарища моего, телеграфиста Юдина, горбатого и злого:

— Какому богу служите, ребята, а? Потеха!

Или вопрошал сам себя:

— Разве я для того роднлся, чтобы меня комары ели?

Мы, я и телеграфнст, часто н горячо говорнлн о будущем, ои смеялся над намн:

— Потеха! Вы спросите меня: что будет через десять лет, в сей день н час? Я вам верно скажу: то же самое! А через двадцать пять? И тогда — то же самое...

Когда я с Юднным началн читать Спенсера, он, послушав, спроснл:

— Англнчаннн?

— Да.

— Ну, значнт, врет! Англичанин правду ннкогда не скажет.

И не стал слушать Спенсера.

Иногда Колтунова одолевали припадкн нелепого упрямства: он крутнл пальцамн обгрызенные усы и тоненькнм, нервным голосом настойчнво старался убеднть нас, что «Пан Твардовскнй» напнсан лучше «Фауста», а Тургенев — барышннчал лошадьмн. Илн кричал, высоко взмахнвая правой рукою:

— Все нашн пнсателн — не русскне: Пушкнн — сыи араба, Жуковскнй — турчанкн, Лермонтов — англичанин! А которые русские, так онн все — иезакониорожденные...

Он был сын священннка из Тургайской областн, учнлся в Тамбовской семннарнн.

— Выучнлся водку пнть,— пошел в уннверснтет, в Казань,— рассказывал он, и его серые глаза уныло зеленелн.— В иетрезвом состояннн душн надел профессорову шубу, шапку н пропил сню арматуру. Потеха! Ну, мие предложнлн освободить уннверснтет. Ушел, лет пять прнсматрнвался к разным делам н незаметно очутился жеиат. С того временн — стоп машнна!

Жена ушла от него; он жнл с дочерью, шестилетней рыженькой девочкой, спокойной н серьезной, как взрослый человек. Ее бледное, неподвижное лнчико словно пряталось в золоте кудрей, темные глазки смотрели иа все сосредоточенно, улыбалась она редко. Все иаселенне станции любнло ее какою-то особенной любовью, боязлнвой н осторожной; мужчины прн ней тише ругалнсь, женщнны ставнли ее в пример свонм детям.

— Смотри, вон какая Верочка смнрнеиькая да аккуратная...

Отец звал дочь по нменн н отчеству — Вера Петровна; он относился к ней иепонятно — с любопытством н как будто с боязнью, за которою скрывалась враждебность.

...По тесным путям станции маневрнрует локомотнв, входнт поезд с Дона нлн Волгн, а Вера Петровна, в белом платочке на золотых кудрях, ие спеша ндет через рельсы; между локомотнвамн мелькают ее тоикне ножкн в красиых нитяных чулках.

Она идет в скупую степь собирать бедные цветы, бегать за сусликами с таловым прутом в руке.

Отец следит за нею из окна станции или с перрона и кусает усы, прикрыв золотыми ресницами воспаленные глаза.

— Запретить бы ей ходить по путям,— говорят ему.

Но он равнодушно отвечает:

— Ничего, она — осторожная...

Смотришь, бывало, как она одиноко расхаживает по пустой земле, за версту от станции, кланяясь редким цветам и травам, и все больше не нравятся ее отец, станция, люди — вся эта скучная, полусонная жизнь.

Не раз по ночам она прибегала ко мне, окутанная с головы до ног большой серой шалью, похожая на летучую мышь, и говорила торопливо, но спокойно:

— Иди, отец опять назюзюкался до смерти!

Схватив ее на руки, я бежал на квартиру Колтунова.

Он валялся на полу синий, со вздувшимся лицом, вытаращенными глазами, похожий на утопленника. Несколько капель нашатырного спирта с водою, влитые ему в горло, оживляли его, он мычал, а девочка убийственно спокойно спрашивала:

— Еще не до смерти?

И, садясь на пол, у головы отца, гладила его рукою по шершавой щеке, приговаривая:

— Ах, какая пьяница несчастная!..

Юдин, любивший девочку больше, чем другие, мечтал:

— Если бы у меня была мать или какая-нибудь дуреха согласилась бы выйти замуж за горбатого, я бы выпросил Верочку себе. Зачем она Колтунову?

Он был зол, дерзок, склонен к пессимизму, но где-то в глубине его души теплилась тоска о лучшей жизни и нежное сострадание к людям.

— Как жалко всех! — вздыхал он иногда, ночью, во время дежурства, когда мы, прочитав какую-нибудь книгу, говорили о ней.— Как жалко людей!..

Это чувство он бесплодно тратил на уход за пьяными и больными, на примирение семейных ссор и на убедительные письма товарищам своим, телеграфистам линии. Одному он советовал жениться, другому — играть на скрипке, третьего уговаривал идти в колонию толстовцев.

Когда я немножко смеялся над ним за это, он резко возражал:

— А что делать? Что можно делать в этой рыбьей жизни?!

Мы оба были страстными любителями чтения, мы читали книги с ненасытной жадностью, день и ночь, в свободные часы. Книги были для нас просветами в мир действенной жизни из мира мертвой пустоты.

Но очень быстро мы проглотили все книги, какие нашлись на шести станциях между Волгой и Доном, и вот наступила для нас полоса духовного голода,— муки его знакомы только тем, кто жил в пустотах нашей страны, задыхался в густой скуке ее равнин. Нечем жить,— это, кажется, самое жуткое ощущение, испытанное мною.

Долго маялись мы в поисках хороших книг, но не находили ничего, кроме романов Окрейца, старой «Нивы» и тому подобной нищеты.

Колтунов издевался над нами:

— Что, ребята, издыхаете? Потеха!

И однажды, сжалившись, предложил:

— У меня в Калаче знакомый есть, он выписывает журнал. Хотите — попрошу?

Мы стали умолять его; он, посмеявшись, согласился, и через несколько дней кондуктор пассажирского поезда вручил Колтунову пакет и письмо.

— Вот он, журнал! — сказал Колтунов, победоносно взмахнув пакетом, но, прочитав письмо, закусил усы, оглянулся и, сунув пакет под мышку, плотно прижал его локтем.

— Ну, давай сюда,— попросил Юдин, радостно улыбаясь большим ртом.

Колтунов приподнял плечи и тоном начальника заявил:

— Успеешь, не лезь!

Юдин удивился, отступил на шаг; они были приятелями, и Колтунов никогда не говорил так грубо.

— Я схлопотал — мне и читать первому, а вы — после! — добавил Колтунов сухо и сердито.

Это и меня обидело: раньше читали вслух, все вместе, или читал тот, у кого было свободное время. Книгу держали всегда на виду, в телеграфной.

— Ты что форсишь? — спросил Юдин, а Колтунов ответил еще более сердито:

— Отстань! Я хочу читать для отдыха души, а не для спора да вздора. Читать надо молча, а вы рассуждаете: отчего так, зачем не этак! Надоело мне это! Я хочу один читать,— и убирайтесь к черту!

Он запер книгу в ящик своего стола и до конца дежурства не разговаривал с нами, гневно озираясь, словно испуганный чем-то. Когда он, кончив дежурство, уходил к себе, Юдин сказал ему:

— Ляжешь спать, положи книгу на видном месте, я зайду, возьму ее...

Он не ответил, только усмехнулся.

Около полуночи Юдин предложил мне:

— Поди-ка возьми книжку, он, наверное, дрыхнет уже.

Днем часа полтора непрерывно хлестал землю обильный дождь, затем снова на вымытом небе явилось знойное солнце, щедро согрело землю,— теперь в степи было темно и душно, как в бане. Среди черных туч, в глубоких синих ямах, тускло светились золотые звезды,— в эту ночь все они казались угасающими. Предо мною, как бы указывая путь, прыгала лягушка; вдали гудел поезд; с водокачки доносилась тихая песня кочегара-еврея, косоглазого человека, с печальной улыбкой на красных губах,— кажется, ничто не могло стереть эту улыбку с его острого смуглого лица. Из окна квартиры Колтунова изливался желтый свет, падал на землю, показывал в темноте штабель шпал и тонкий ствол тополя. Сквозь кисею, натянутую в раме окна, я видел Колтунова: он сидел за столом в ночном белье, облокотясь, согнувшись, запустив пальцы в рыжие волосы. Его острый небритый подбородок судорожно вздрагивал, и на книгу, лежавшую между локтями, капали слезы,— при свете лампы было хорошо видно, как они падали одна за другою,— мне казалось, что я слышу мокрые удары о бумагу. Нехорошо видеть человека, когда он плачет...

Кроме лампы, на столе стояла едва початая бутылка водки и тарелка с куском соленого арбуза. В плетеном кресле спала девочка, свернувшись калачиком; лицо ее было сплошь закрыто кудрями, виден только рот, удивленно открытый. Глубже в комнате было так же темно, как в степи, а освещенное пространство напоминало пещеру в черной горе.

Колтунов выпрямился, посмотрел в окно. Его незначнтельное лицо, обтаяв в слезах, казалось еще меньше н незначительнее. Вот он подиял кннгу иад лампой и стал сушить слезы; посушив н потрогав пальцем страницу, снова качает книгу над огием, а из глаз его все катятся слезы, застревая в усах.

Я ушел встречать поезд и, встретив, сказал Юднну.

— Не спнт, все еще чнтает...

— Скотина! — ворчал телеграфист, выстукивая отправлеиие.— Приятель! Все мы прнятелн до первого вкусного куска.

Перед рассветом я снова стоял под окном, разглядывая сквозь кисею маленького рыжего человечка. Он, должно быть, спал: голова опустилась иа грудь, руки бесснльно лежалн иа коленях. Лампа погашена, ио горнт свеча в медиом подсвечннке, золотое копье огня двукратио отражается в стекле бутылки,— водки не убавилось. Комната еще темнее, чем была прежде, девочки нет в кресле, а закрытая книга лежнт иа углу стола, блнзко к подоконнику.

Я тнхонько прорвал кнсею, просунул руку в дыру. Колтунов вскочил иа ногн, схватнл подсвечник, размахнулся н заорал днкнм голосом:

— Прочь! Убью!

Свеча погасла, но я все-такн вндел незнакомое, нскаженное лицо, тотчас утоиувшее во мраке.

Через минуту он спокойно и грубо спросил:

— Это кто?

— Я. За кингой.

— Не дам...

Я постоял под окном еще мннуту, глядя в степь, на восток. Там, за тучами, всходило солнце; на желтом пятне зарн маячил маленький черный всаднник; по земле за инм серым облаком ползла отара овец.

Все это — знакомо, все это было. Как хорошо смотреть в кнNew н вндеть перед собою другую жизнь!..

Дня четыре Колтунов дразинл нас книгой: принесет ее иа станцню и читает однн, а когда мы попросим — нздевается:

— Встаньте на колени — дам!

Юдин увещевал его:

— Дурак, вспомни, сколько мы давали тебе книг!

— Ну, так что?

— Ты читал же с нами?

— Вставай иа коленн!

Он был протнвен н жалок, он сам, вндимо, чувствовал это и, наперекор себе, все более упрямо дразннл нас. Чнтает и время от временн издает разные восклнцання.

— Потеха! Вот как!

Эти словечки еще более распаляли иаше любопытство, иашу жажду позиакомнться с кннгой. Мы так невзлюбилн его, что даже иа девочку перенесли чувство, вызванное ее отцом. И, когда она, любимая, подбегала к нам, мы холодно отстраняли ее, надеясь хоть этим досадить ее отцу.

Я до сего дня помню, с каким недоумеинем смотрелн на меня и Юдина темные глазки девочки, как вздрагивал, в улыбке огорчения, ее алый рот, похожнй на цветок.

И Колтунов видел это. Но он только усмехался и дергал себя за усы нервным движеинем руки.

— Хочется почнтать, мальчншки? — спрашивал он, пряча кннгу в стол.— А я не дам...

— Ударю я его,— грозил Юдин, задыхаясь н бледнея.— Вот что: кннгу эту не брать у него, хоть н даст,— ие брать! Ладно?

Я соглашался:

— Ладно.

— Даешь слово?

— Даю.

Смешно вспомнить об этом теперь, но в те дни я искрение страдал н боялся чего-то, потому что в груди порою вскипала такая ненависть к человеку, что от нее кружилась голова и перед глазамн мелькалн красные пятна.

Вся станцня видела, что мы, трое друзей, поссорились, все слышалн, как Колтунов нздевался над нами, все чего-то ждалн от нас н что-то виушалн нам, безмолвио, пытливыми взглядамн, усмешками.

Кончнлось это очень просто: утром Колтунов пришел на дежурство, бросил журиал Юдину и сказал:

— На, чнтай...

Телеграфист схватил книгу на лету н тотчас молча воткнул большой нос в оглавленне.

Ночью я читал вслух Юднну незначнтельный рассказ о том, как хорошая женщина ушла от дурного мужа на работу для общества, для мира,— читал и думал:

«Над этим, что ли, плакал Колтунов?»

Вдруг он ввалился в дверь н заорал, цепляясь руками за косяки:

— Н-не сметь читать!

Ноги у него подгнбались, он был безобразно пьян и днко таращнл красные, мокрые глаза.

— Н-не сметь... Никто ие поннмает ничего... н те, кто пишут, н все...

Опустился на пол, протягнвая нам руки и вскрикнвая:

— Молчать!.. Не читать!..

А в двери, за его спнною, стояла малеиькая девочка, Вера Петровна, в расстегнутом платьице, сползавшем с плеч, босая и встрепанная,— ее рыжне кудри подинимались вверх, как пламя,— стояла и тусклым голосом спрашнвала:

— Зачем вы его обидели?

КАК СЛОЖИЛИ ПЕСНЮ

Вот как две женщины сложнлн песню, под грустный звон колоколов монастыря, летннм днем. Это было в тнхой улнце Арзамаса, пред вечерией, на лавочке у ворот дома, в котором я жил. Город дремал в жаркой тишине июньскнх будней. Я, сидя у окиа с кингой в руках, слушал, как моя кухарка, дородная рябая Устннья, тихоиько беседует с горничной моего шабра, земского начальиика.

— А еще чего пншут? — выспрашнвает она мужским, но очень гибкнм голосом.

— Да ничего еще-то,— задумчиво и тихоиько отвечает гориничая, худенькая девица, с темиым лицом и маленькими испуганио-неподвижными глазами.

— Значнт — получи поклоны да прншлн деньжонок,— так ли?

— Вот...

— А кто как живет — сама догадайся... эхе-хе...

В пруду, за садом нашей улицы, квакают лягушкн страино стеклянным звуком; назойливо плещется в жаркой тншние звон колоколов; где-то на задворках всхрапывает пила, а кажется, что это храпит, уснув н задыхаясь зноем, старый дом соседа.

— Родные,— грустно н серднто говорнт Устннья,— а отойтн от ннх на трн версты — н нет тебя, н отломнлась, как сучок! Я тоже, когда первый год в городе жнла, неутешно тосковала. Будто не вся жнвешь — не вся вместе,— а половниа душн в деревне осталась, н все думается день-ночь: как там, что там?..

Ее слова словно вторят звону колоколов, как будто она нарочно говорнт в тон нм. Горничная, держась за острые свон колеин, покачивает головою в белом платке н, закусив губы, печальио прнслушивается к чему-то. Густой голос Устнньи звучнт насмешливо н сердито, звучнт мягко н печально.

— Бывало — глохиешь, слепнешь в злой тоске по своей-то стороне; а у меня и нет никого там: батюшка в пожаре сгорел пьяный, дядя — холерой помер, были братья — однн в солдатах остался, ундером сделали, другой — каменщик, в Бойгороде живет. Всех будто половодьем смыло с землн...

Склоняясь к западу, в мутном небе виснт на золотых лучах красноватое солнце. Тнхий голос женщнны, медный плеск колоколов н стеклянное кваканье лягушек — все звукн, которымн жнв город в этн минуты. Звукн плывут ннзко над землею, точно ласточки перед дождем. Над ннмн, вокруг нх — тншнна, поглощающая все, как смерть.

Рождается нелепое сравненне: точио город посажен в большую бутылку, лежащую на боку, заткнутую огненной пробкой, н кто-то лениво, тнхоиько бьет нзвне по ее нагретому стеклу.

Вдруг Устинья говорнт бойко, но деловнто:

— Ну-кось, Машутка, подсказывай...

— Чего это?

— Песню сложим...

И, шумно вздохнув, Устнньа скороговоркой запевает:

Эх, да белым днем, прн ясном солнышке,
Светлой ноченькой, прн месяце...

Нерешительно иащупывая мелодню, горничная робко, вполголоса поет:

Беспокойно мие, девице молодой...

А Устнньа уверенно и очень трогательио доводнт мелоднюю до конца:

Все тоскою сердце мается...

Кончила н тотчас заговорнла весело, немиожко хвастлнво:

— Вот она и началась, песия! Я те, мнлая, научу песнн складывать, как нитку сучнть... Ну-ко...

Помолчав, точно прислушавшнсь к заунывим стонам лягушек, леннвому звону колоколов, она снова ловко занграла словамн н звуками:

Ой, да нн зимою вьюгн лютые,
Нн весной ручьн веселые...

Горничная, плотно прндвниувшнсь к ней, положнв белую голову на круглое плечо ее, закрыла глаза н уже смелее, тоикнм вздрагнвающнм голоском продолжает:

Не доносят со родной стороны
Сердцу весточку утешную...

— Так-то вот! — сказала Устнньа, хлопнув себя ладонью по колену.— А была я моложе — того лучше песни складывала! Бывало, подругн пристают: «Устюша, научи песенке!» Эх, н зальюсь же я!.. Ну, как дальше-то будет?

— Я ие зиаю,— сказала гориичная, открыв глаза, улыбаясь.

Я смотрю на ннх сквозь цветы в окие; певицы меня ие замечают, а мне хорошо видно глубоко нзрытую оспой, шершавую щеку Устииьн, ее малеиькое ухо, не закрытое желтым платком, серый, бойкнй глаз, иос прямой, точно у сорокн, н тупой подбородок мужчнны. Это баба хнтрая, болтлнвая; она очень любнт выпнть и послушать чтенне святых жнтнй. Сплетннца оиа на всю улнцу, н больше того: кажется, все тайны города в кармане у нее. Рядом с нею, крепкой н сытой, костлявая, угловатая горничная — подросток. Да н рот у горннчной детскнй; маленькне, пухлые губы надуты, точно она обнжена, бонтся, что сейчас еще больше обидят, и вот-вот заплачет.

Над мостовой мелькают ласточки, почтн касаясь земли нзогнутымн крыльямн: значит, мошкара опустнлась ннзко,— прнзнак, что к ночн соберется дождь. На заборе, против моего окна, снднт ворона иеподвижно, точно нз дерева вырезана, н чернымн глазамн следит за мельканием ласточек. Звоннть пересталн, а стоны лягушек еще звучней, н тншина гуще, жарче.

Жаворонок над полями поет,
Васнльки-цветы в полях зацвели,—

задумчиво поет Устннья, сложив рукн на груди, глядя в иебо, а горннчная вторит складно н смело:

Поглядеть бы на родные-то поля!

И Устинья, умело поддержнвая высокнй, качающнйся голос, стелет бархатом душевные слова:

Погулять бы, с милым другом, по лесам!..

Коичнв петь, онн длительио молчат, тесно прнжавшись друг ко другу; потом женщина говорнт негромко, задумчиво:

— Али плохо сложнли песню? Вовсе хорошо ведь...

— Гляди-ко,— тнхо остановила ее горничная.

Онн смотрят в правую сторону, нанскось от себя: там, щедро облитый солнцем, важно шагает большой священннк в лиловой рясе, мерно переставляя длинный посох; блестнт серебряный набалдашннк, сверкает золоченый крест на широкой груди.

Вороиа покосилась на иего чериой буснной глаза н, леннво взмахнув тяжелымн крыльямн, взлетела иа сучок рябнны, а оттуда серым комом упала в сад.

Женщины встали, молча, в пояс, поклоннлись священннку. Он не заметнл нх. Не садясь, они проводили его глазамн, пока он не свернул в переулок.

— Охо-хо, девушка,— сказала Устнньа, поправляя платок иа голове,— была бы я помоложе да с другой рожей...

Кто-то крикнул сердито, сонным голосом:

— Марья!.. Машка!..

— Ой, зовут...

Гориичная пуглнво убежала, а Устииья, снова усевшись на лавку, задумалась, разглаживая на коленях пестрый ситец платья.

Стонут лягушкн. Душиый воздух неподвнжен, как вода лесиого озера. Цветнсто догорает день. На полях, за отравленной рекой Тёшей, сердитый гул,— дальний гром рычнт медведем.

ПТИЧИЙ ГРЕХ

Осенняя па́морха повисла над землею, закрыв дали. Земля сжалась в небольшой, мокрый круг; отовсюду на него давит плотная, мутностеклянная мгла, и круг земной становился все меньше, словно таял, как уже растаяло в серую сырость небо, еще вчера голубое. В центре земли — три желтые шишки, три новеньких избы,— очевидно, выселки из какой-то деревни, невидимой во мгле.

Я направляюсь к ним по разбухшему суглинку исковерканной дороги. Меня сопровождают невеселым бульканьем осенние ручьи, они текут по глубоким колеям тоже на выселки; а в ямах межколесицы стоят лужи свинцовой воды, украшенные пузырями. Иду точно дном реки, в какой-то особенно неприятно жидкой липкой воде; по сторонам дороги мерещатся кусты, печально повисли седые прутья; на всем, что видит глаз,— холодный налет ртути. Грязь сосет мои ноги, заглатывая их по щиколотки; она жалобно чмокает, когда я отнимаю у нее ступни одну за другою, и снова жадно хватает их толстыми губами. Холодно на земле, холодно и грязно; в душе тоже — холодное безразличие; все равно куда идти — в море этой неподвижной мглы, под ослепшим небом.

Выселки строились с расчетом образовать когда-то улицу: две избы стоят рядом, связаны крытым соломою двором, третья — побольше — напротив них. Между домами большая лужа, в ней плавает щепа и деревянное ведро с выбитым дном, а на краю ее, у ворот и под окнами одинокого дома, мнут грязь десятка полтора мужиков, баб и, конечно, ребятишек. Это странно: непогода, будни,— чего же ради мокнут жители и почему они говорят так необычно тихо? Покойник в доме? Мужика смерть не удивляет... Ворота дома открыты настежь, посреди двора стоит телега, под задними колесами ее валяется куча тряпья; где-то обиженно хрюкает свинья, лошадь жует сено, слышен вкусный хруст. Крепко пахнет навозом и еще чем-то, напоминающим жирный запах бойни.

Здороваюсь с людьми, сняв мокрый картуз. Они смотрят на меня молча, неприязненно, без обычного в деревне интереса к дальнему страннику.

— Что это вы собрались?

Большой чернобородый мужик, надвигаясь на меня животом, сурово спрашивает:

— А тебе чего надо? Откуда таков?

Он не в духе, но не настолько, чтобы драться; он, видимо, еще настраивает себя на боевой лад.

— Паспорт! — требует он, протянув руку, похожую на вилы о пяти зубьях.

Но когда я подал ему паспорт, он сказал, ткнув рукою в лужу:

— Ступай себе...

Из-за его широкой спины вывернулся старичок с лицом колдуна и секретно, вполголоса, заговорил, пришепетывая, быстро шлепая темными губами:

— Ты, мил человек, вали, иди дальше с богом! Тут тебе, промежду нас,— не рука, прямо скажу,— ты идикось!

Я пошел, но он, поймав меня за котомку, потянул к себе, продолжая выбрасывать изо рта мятые слова.

— Тут у нас история сделана...

Черный мужик сердито окрикнул его:

—Дядя Иван!

— Ась?

— Придержи язык-от! Что, ей-богу!..

— Да ведь все едино, дойдет до деревни — там узнает, скажут...

Кто-то повторил эхом:

— Скажут...

— Али такую историю можно прикрыть?!— радостно воскликнул дядя Иван.— Ведь кабы что другое, а то — отец...

И, сдвинув шапку на ухо, спросил меня:

— Ты — как,— грамотен? Чу, Никола, грамотный он...

Чернобородый поглядел на меня, на него и сказал с досадой:

— Да ну его ко псам и с тобой вместе! Эка суета...

Старик, вздохнув, беспомощно махнул рукой, все придерживая меня. Мужики молчали, врастая в грязь; бабы, заглядывая во двор и в окна, шептались о чем-то; я слышал отдельные слова:

— Сидит?

— Сидит, не шелохнется...

— А она?

— Да она в сенях, не видно ее...

Старик, подмигнув мне добрым, светлым глазом, отвел меня за угол избы, оглянулся, поправил шапку и деловито заговорил, поблескивая глазами, морщась:

— Тут, видишь ты, сын отца топором укокал, да и жену повредил; баба-то еще жива, а старичок, тезка мне — Иван Матвеев,— он кончился, упокой господи...

— Снохач? — спросил я.

— Вот, это самое, за сноху потерпел убиенную смерть от руки сына. Через бабу, да... Видал,— за телегой лежит, у задних-то колес?

— Нет...

— А ты поди взгляни,— воодушевленно и даже с укором посоветовал дядя Иван, дергая меня за рукав.— Кто не пустит? Ты — со мной, я тут вроде за старосту, меня слушают, как же!

Он усмехнулся, снова подмигнул, а ведя меня сквозь народ, поучительно сказал:

— Грехи — учат...

Остановясь у телеги, он снял шапку и приподнял рваный армяк с земли у колес: под армяком распластался такой же, как дядя Иван, небольшой, милый и сухонький старичок. Лежал он, словно споткнувшись на бегу, подогнув правую ногу под живот, вытянув левую и неестественно упираясь плечом в землю. Одна рука заброшена на поясницу, другая — смята под боком; жилистая шея перекрутилась, правая щека утонула в навозе. Голова его была разрублена от уха до уха,— из трещины грибом вылез серо-красный мозг, отвалившийся лоб закрыл ему глаза. Рот, полный мелких зубов, был искривлен и широко разинут,— казалось, что старик этот, крепко зажмурясь от страха, кричит в землю криком, не слышным никому, кроме ее, может быть.

— Вот какая история сделана,— поучительно сказал живой старичок и, надев шапку, предложил:

— Айда в избу!..

На полу сеней, в полосе света из открытой в избу двери, лежала на спине, в луже застывшей и лоснившейся крови, молодуха, глядя в потолок круглыми глазами, закусив толстую нижнюю губу, болезненно

прнподняв верхнюю. Из-под разорванного подола ее рубахн высовывалнсь грязные ноги, на обенх оттопыренные большне пальцы тнхонько, равномерио шевелнлнсь. Это было страшно видеть, но еще страшнее была тишина в нзбе н согнутая этой тншиной фигура мужнка, сндевшего на лавке у стола со связаннымн за спиною рукамн, затылком к маленьким окнам, лицом в сенн.

Он сидел наклонясь вперед, высунув голову, точно под топор; на его темном лице по-волчьи блестели большне глаза; встрепанные, рыжеватые волосы головы н бороды тоже блестелн на стекле окна, гудевшем под ударамн большой черной мухн.

— Вот это н есть самый мастер,— громко н негодующе сказал старик, кнвнув головою в дверь избы.

Я смотрел, ожндая, что мужнк вырвет рукн нз-за спины, броснтся на пол н на четвереньках побежит в сенн, во двор н дальше, в поля, прикрытые серой па́морхой.

— Нарошно посадили его эдак-то: пускай глядит, чего наделал,— объяснил мне старнк, н тогда я увндел, что мужнка почтн сплошь по всему телу опуталн вожжами н веревками, прнкрутнв его к столу н скамье.

Услыхав последние слова старнка, он покачнулся, тряхиул спутаниыми волосами,— все вокруг него заскрнпело, заскрежетало.

— Работничек был — золото, а вот оиа, дерзость рукн, к чему привела...

Жеищина у нашнх ног простонала коротенько н сказала медленно, страшно громко:

— Дедушка Иван, уди-н... уйдитя, Хрнста ради... Ты жа добрый...

— Ага-а,— протянул дедушка Иван сердито н печально,— наделала делов, а теперь стонешь!..

Махнув рукою, он пошел из сеней, натягивая шапку на серебряную голову н говоря:

— Бабеночку жаль! Внучатная мне, брата моего внука. Жаль, хороша в девках ходнла...

Вышлн за ворота, где по-прежнему мял грязь, должно быть, весь народ выселков.

— Ну, что? Как? — сталн спрашнвать бабы, толкая старнка.

Он успокоительно ответнл нм:

— Сндит, зверь ожесточеиная, сндит...

Предо мною, в густом, влажном воздухе, кто-то невиднмый нес труп старнка. Я смотрел на разрубленную голову, на серо-красный гребень мозга, дряблый язык, лежавшнй на нижнях зубах, н загнутые вверх, ко рту, жесткие волосы бороды. Дождь сыпался пуще, настойчнвее, земля стала еще меньше н грязней. По жести чайника за моей спиною дробио барабанят капли, точно острые гвоздики сыплются на жесть. На крыше овииа галдят галкн, слышна трескотня сороки.

Дядя Иван, шагая рядом со мною, повествует спокойным голосом многоопытного мудреца:

— В нашнх местах это зовется — птнчий грех, когда свекорь со снохой соймется алн отец с дочерью... Как птнца, значнт, небесная, нн родства, нн свойства не прнзнает она, вот и говорят: птнчнй грех... Да...

В стеклянном сумраке, как две звезды, улыбаются мне детскне глаза, такне светлые, полные кротостн.

— Нн в чем ноне старнкам не уважают! А бывало!.. Чу, колокольчик,— стало, едут! Ну, прощевай, мнл человек!

Иду в мокром шорохе дождя, и снова грязь сосет мон босые ногн. Сердце тоже жадно н больно сосут чьн-то холодные, толстые губы...

ГРИВЕННИК

В тринадцать лет, средн тяжелых людей, в кругу которых я жил, сердце мое властно привлекала сестра хозяйкн — женщнна лет тридцатн, стройная, как девушка, с кроткимн глазамн богоматерн,— они освещалн лнцо удивнтельно правнльное н нежное. Эти голубые глаза смотрели на все ласково, внимательно, но когда говорилось что-ннбудь грубое нлн злое,— светлый взгляд странио напрягался, как это бывает у людей, которые плохо слышат.

Была она молчалива,— говорнла только самое необходимое: о здоровье, о муже н погоде, о прнслуге, священниках и портнихах; я ннкогда не слышал нз ее уст дурного слова о человеке. Что-то осторожное н иеуверенное было в ее двнженнях, точно она всегда боялась споткнуться нли задеть кого-либо. Порой мне казалось, что она близорука, нногда я думал, что эта тихая женщнна живет во сне.

Над ней посменвались. Бывало, соберутся у хозяйки жеищнны, подобные ей — такие же толстые, сытые, бесстыдиые на словах,— распарят себя чаем, размякиут от наливок, мадеры н начнут рассказывать друг другу анекдоты о мужьях,— сестра хозяйки слушает нагне слова, н тонкая кожа ее щек горнт румянцем смущення, длиные ресницы тнхонько прикрывают глаза, н вся она сгибается, точно травиика, иа которую плесиули жирными помоямн.

Заметнв это, хозяйка радостно кричнт:

— Глядите-ка, Лнна-то зарделась... Ой, смешная!

А бабы ласково укорялн ее:

— Что это вы, словно девушка!

В такне мннуты я очень жалел эту чнстенькую женщину,— мне тоже было стыдно слышать банные разговоры баб. Рассказывалн не только голымн словамн, но и улыбочками, жнрненькнм смехом, красноречнвымн подмигиваннямн, это возбуждало у меня отвращенне н страх. Хмельные женщины казалнсь похожими на пнявок. Особенно страшна была вдова подрядчнка-маляра, тяжелая баба лет под сорок, с двойным подбородком, огромной грудью н глазамн коровы. Улыбаясь, она высоко подннмала толстую верхнюю губу с усамн, оскалнвала тесный ряд острых зубов, а мутно-зеленые глаза ее как будто вскнпалн, покрываясь светящейся влагой.

— Муж любит, чтобы жена была бесстыдна с ним,— говорила она голосом пьяного дьякона.

— Не всякнй,— возражалн ей.

— Ан — всякнй! Конешно,— ежелн слабый, ему это не надобно, а хороший мужчина — стыда не любнт. Отчего мужнкн с гулящнми валандаются? Оттого, что гулящне умнее нас — бесстыжн. Стыд — для девиц, а женщине он только помеха.

Не все соглашались с ней, но все хвалили ее:

— Ну и смелая же вы, Марья Игнатовна!

Прислуживая за столом, я слушаю эти речи и вижу, как гнется лебединая шея милой женщины, вижу ее маленькие пылающие уши, запутанные в русых локонах, вижу, как ее пальцы ломают и крошат печенье. Мне до слез, до бешенства жаль ее, а бабы хохочут:

— Нет, вы гляньте-ка, Анна-то!..

Я был уверен, что этой женщине невыносимо тяжело среди подруг, и для меня было ясно, что я должен помочь ей. Но — как?

Хотя я прочитал уже немало книг, однако ни в одной из них не было указано, чем может тринадцатилетний мальчик помочь женщине вдвое старшей его. А в одной книге, на мое несчастье, было сказано: «Любовь не щадит ни попа, ни дьявола, она не различает возраста, мы все — ее рабы».

Я слишком хорошо для своих лет знал, каково некнижное отношение мужчин и женщин, но книги дали мне спасительную силу верить в возможность каких-то иных отношений, и я упрямо мечтал о них, воображая нечто величественное и трогательное. Не может же быть, чтоб для всех женщин и мужчин любовь являлась в тех же формах, в каких ее знают дикий бык, солдат Ерофеев и всегда пьяная, растерзанная, хвастливо бесстыдная прачка Орина.

Я упорно думал — как же мне помочь милой женщине, которая явно не хочет слышать и видеть грубостей жизни, не годится для них? Мне снились героические сны: вот я — атаман разбойников, здоровый молодец в красном кафтане, с ножом за поясом и в меховой шапке набекрень. Мои товарищи подожгли дом, где жила она, а я, схватив ее на руки, бегу по двору, к моему коню. Снилось, что я — колдун и мне подвластны все черти, они сделали невидимыми меня и ее; вот мы оба, легкие, как снежинки, плывем с ней по воздуху, над пустынным полем, синим от синего неба, а впереди, между пирамид елей, стоит снежно-белый дом, из окон его, открытых настежь, в поле, встречу нам, рекой течет удивительная музыка — от нее замирает сердце, и все тело поет, напитанное ею.

Были сны менее счастливые, были и противные кошмары подростка, фантазия которого слишком возбуждена.

А наяву возлюбленная проходила мимо меня так же осторожно, как мимо всех; мне казалось, что она боится выпачкать себя о человека и первая забота ее — не коснуться бы кого-нибудь. Но, видимо, она заметила, что я слишком упорно слежу за ней, все чаще ее глаза стали встречаться с моими, и наконец, когда я отпирал ей двери крыльца, она, раньше проходившая мимо меня молча, стала говорить мне:

— Здравствуй!

Разумеется, я расширил это приветствие,— оно звучало, как приказание мне:

«Здравствуй для меня!»

Я ликовал. Конечно — для тебя, царица! Это предрешено мне судьбой моей, всеми силами жизни и всеми книгами,— для тебя!

Однажды она спросила меня:

— Ты что — невеселый?

Я не мог ответить,— у меня сердце замерло: ведь если она видит, что мне невесело, значит, она уже заметила, что вообще я — веселый, и, значит, она меня любит. Заключение не совсем правильное, но — приятное, и я был до того обрадован им, что, вбежав в кухню, расцеловал кошку — старое, облезлое животное, не любимое мною за бессердечие и подхалимство.

Озорниковатый март капризничал, как балованное дитя,— то сеет на землю густой тучей тяжелые пушинки снега, то вдруг зажжет в небе яркое солнце и в час растопит пуховые цветы на темных сучьях деревьев. Журчат ручьи, выбиваясь из-под сугробов, и слышно, как вздыхает, оседая к земле, подмытый снег. Все глубже и шире с каждым днем голубые прорезы неба между серой массой встревоженных облаков,— и когда смотришь в эти бездонные ямы небес — жизнь становится легче, праздничней. Первые весенние цветы расцветают в душе, а потом уже — в полях.

Моей хозяйке сильно нездоровилось, сестра посещала ее почти каждый день, и при ней в доме все становилось благообразнее, тише и лучше. Покачиваясь, точно скользя на коньках по крашеному полу, она бесшумно переходила из комнаты в кухню с полотенцами, смоченными водой и уксусом, с графинами клюквенного морса в белых руках, а я любовался ею.

Однажды, умывая руки и увидав меня за книгой, она спросила:

— Что это читаешь?

Я назвал книгу.

— Ты бы лучше житие Варвары Великомученицы прочитал,— посоветовала она.— Ведь это твоей мамаши ангел.

— А вы — мой ангел,— сказал я, и даже, помнится, басом сказал.

И тотчас испугался дерзости своей — рассердится? Но она, не взглянув на меня, попросила:

— Налей-ко в рукомойник воды...

Вымыла свои тонкие пальчики, аккуратно вытерла их один за другим и, взглянув в окно, сказала:

— Тает как!

Да, на припеке таяло сильно, с крыш непрерывно лились струйки воды, точно серебряные шнурки, унизанные радугой самоцветных камней. Сердце у меня тоже горело радугой и таяло.

Через некоторое время в кухню пришел хозяин и, строго взмахнув длинными волосами, погрозил мне пальцем:

— Ты, зверь! Ты что сказал Олимпиадке?

— Что она похожа на ангела, — сознался я.

— Разве можно говорить эдакое замужней женщине?

— Говорят же в книгах.

— Замужним? По башке тебя книгами надо. Ты — гляди! Она и без тебя знает, на что похожа...

Хозяин ухмыльнулся до ушей и исчез, а мне стало немножко грустно,— зачем она пожаловалась на меня? Не следовало бы...

Дня через два, приготовляя в кухне клюквенный морс, она сказала мне:

— Жалуются, что дерзок ты и упрям,— это нехорошо!

Я ждал от нее иного, вспыхнул и спросил:

— Почему — нехорошо?

— Сам должен знать.

Тогда я начал говорить все, что думалось: а хорошо ли, что она молчит, когда при ней рассказывают пакости?

— Ведь я вижу, что вам стыдно слушать,— разве вы такая, как они? Они — халды, хуже пьяных прачек...

Говорил я много и сердито, а она, стоя у стола над решетом, сквозь которое протирала клюкву, смотрела на меня круглыми глазами, приоткрыв рот, точно собираясь закричать. Лицо у нее было совсем детское, в руке она держала деревянную ложку, с которой капал на стол розовый сок.

— Шш...— вдруг зашипела она, махнув на меня ложкой,— молчи! Ах, какой... да ведь если я пожалуюсь на тебя...

— Не надо жаловаться, лучше давайте убежим на Волгу! — предложил я ей.

— Что-о? Куда?

— За Волгу, в леса. Теперь — весна скоро,— прокормимся!

Она присела на лавку, спросив:

— Зачем?

— А что вам с ними жить?

И я объяснил, как умел, что готов служить ей до старости и до смерти и что со мною ей будет великолепно,— уж я позабочусь об этом!

Она засмеялась, хотя и негромко, но совершенно неуместно; засмеялась и сквозь смех сказала мне:

— Ой, господи, какой ты смешной, и как ты это... все видишь! Что выдумал, господи... За Волгу — ох!

Вздрагивая от смеха, она ушла, а я пошел в сарай колоть дрова. Через полчаса ко мне явился хозяин и сказал мне:

— Вот что, брат: если эти твои глупости и всякая болтовня дойдут до жены,— я тебе не защита, понял?.. Ты с ума сходишь, что ли?

Оставшись один, я подумал:

«Как она доверчива — все рассказывает чужим людям!»

Наступила пасха. Синий воздух налит весенним — гулом меди, треском пролеток по сухому камню мостовой, хмельным шумом весеннего праздника.

Отворяя дверь визитерам, я с великим трепетом ждал, когда явится она, и я скажу ей:

«Христос воскресе!»

«Воистину»,— ответит она и трижды поцелует меня розовыми губами. Может быть, после этого я умру тут же, на месте, но — только бы поцеловала!

Никогда еще праздничные подачки пьяных гостей не оскорбляли меня так больно, как этот раз. Отказываться от них нельзя было. Потные двугривенные жгли мне ладонь и казались тяжелыми, как фунтовые гири.

Я был настроен, как верующий перед причастьем, я чувствовал себя способным и готовым на какой-то великий подвиг, да ведь оно — так и есть: первый поцелуй женщины — величайшее событие жизни.

Вот наконец приехала она. Она в синем шелковом платье, в черной тальме со множеством стекляруса, вся в каком-то тихом шелесте и блеске.

Задыхаясь, я сказал:

— Христос воскресе!

— Воистину,— ответила она и, не останавливаясь, сунула в руку мне монету величиной с крупную слезу.

Это был гривенник, старенький, стертый и с дырочкой под орлом.

Прижавшись к стене, я ошалело смотрел, как женщина, синяя и черная, подымается вверх со ступеньки на ступеньку. Я сразу разлюбил ее,— этот гривенник, как холодная секира, отсек любовь от моего сердца.

Вечером я швырнул монету, цену любви моей, в овраг, в мутную лужу снеговой воды.

...После этого я еще много любил и много получил гривенников,— стареньких и новых.

СЧАСТЬЕ

«...Однажды счастье было так близко ко мне, что я едва не попал в его мягкие лапы.

Это случилось на прогулке; большая компания молодежи собралась знойной летней ночью в лугах, за Волгой, у ловцов стерляди. Ели уху, приготовленную рыбаками, пили водку и пиво, сидя вокруг костра; спорили о том, как скорее и получше перестроить мир, потом, устав телесно и духовно, разбрелись по скошенному лугу, кто куда хотел.

Я отошел прочь от костра с девушкой, которая казалась мне умной и чуткой. У нее были хорошие, темные глаза, в ее речах всегда звучала простая, понятная правда. Эта девушка смотрела на всех людей ласково.

Мы шли тихонько, бок о бок; под ногами у нас скрипели, ломаясь, срезанные косою стебли травы, из хрустальной чаши неба, опрокинутой над землею, изливалась хмельная влага лунного света.

Глубоко вздыхая, девушка говорила:

— Как хорошо! Точно африканская пустыня, а стога — пирамиды. И жарко...

Потом она предложила сесть под стог сена, в круглую тень, густую, как днем. Звенели кузнечики, вдали кто-то заунывно спрашивал:

Эх, зачем ты изменила мне?

Я стал горячо рассказывать девушке о жизни, знакомой мне, о том, чего я не понимал, но — вдруг она, тихонько вскрикнув, опрокинулась на спину.

Это был, кажется, первый обморок, который я видел, и на минуту я растерялся, хотел кричать, звать на помощь, но тотчас вспомнил, что делают в таких случаях благовоспитанные герои романов, знакомых мне,— разорвал пояс ее юбки, кофточку, тесемки лифа.

Когда я увидел груди ее, точно две маленькие чаши из серебра, полные сгущенного света луны и опрокинутые в сердце ее,— мне жадно, до огненного удара в голову, захотелось поцеловать ее. Но, сломив это желание, я стремглав бросился к реке за водою, ибо — по писанию — герои всегда, в подобных случаях, убегали за водой, если только на месте катастрофы не было ручья, заранее приготовленного догадливым автором романа.

А когда я вернулся, прыгая по лугу, точно бешеный конь, со шляпой, полной воды,— больная стояла прислонясь к стогу, в полном порядке, исправив все разрушения туалета, совершенные мною.

— Не надо,— сказала она утомленно и тихо, отводя рукою мокрую шляпу мою...

И пошла прочь от меня на огонь костра, где два студеита и статистик завывали все ту же иадоевшую песию:

Ах, зачем ты изменила мне?

— Я не сделал вам больно? — осведомился я, смущеиный молчаиием девушкн.

Оиа кратко ответила:

— Нет. Вы — ие очеиь ловкий. Все-такн я — разумеется — благодарю вас...

Мие показалось, что оиа ие искреиие благодарит.

Я ие часто встречал ее, ио, после этого случая, встречи нашн сталн еще реже,— вскоре она и совсем исчезла нз города, и уже спустя года четыре я увидел ее на пароходе.

Оиа ехала нз приволжской деревнн, где жила иа даче, в город к мужу, была беременна, хорошо н удобио одета,— иа шее у иее длиииая золотая цепь часов и большая брошь, точио ордеи. Она очеиь похорошела, пополнела н была похожа на бурдюк густого кавказского вина, которое веселые грузнны продают на жаркнх площадях Тнфлиса.

— Вот,— сказала она, когда мы дружески разговорились, вспоминая прошлое,— вот я и замужем, и всё...

Был вечер, иа реке блестело отражеине зари; пеиный след парохода уплывал в сннюю даль севера широкой полосою красиого кружева.

— У меня уже есть двое ребят, жду третьего,— говорила она гордым тоиом мастера, который любит свое дело.

На коленях ее лежалн апельсииы в желтом бумажном мешке.

— А — сказать вам? — спросила оиа, ласково улыбаясь темными глазами.— Еслн б тогда, у стога,— помните,— вы были... смелее... ну — поцеловали бы меня... была бы я вашей жеиой... Ведь я — нравнлась вам? Чудак, помчался за водой... Эх, вы!

Я рассказал ей, что вел себя, как показано в книгах, и что — по пнсаиню, священиому для меия в ту пору,— иужио сиачала угостить девнцу в обмороке водою, а целовать ее можио только после того, когда оиа, открыв глаза, воскликиет:

— Ах,— где я?

Оиа иемиожко посмеялась, а потом задумчиво сказала:

— Вот в том-то н беда наша, что мы всё хотнм жить по писаиию... Жизнь — шире, умиее книг, сударь мой... жнзиь вовсе ие похожа иа кииги... Да...

Достав из мешка ораижевый плод, оиа виимательно осмотрела его и сморщилась, говоря:

— Негодяй, подложил-таки гиилой...

Неумелым жестом она бросила апельсин за борт,— я видел, как ои закружился, исчезая в красной пеие.

— Ну, а теперь — как? Все еще живете по писаиию, а?

Я промолчал, глядя на песок берега, окрашеиный пламенем заката, и дальше — в пустоту рыжевато-золотых лугов.

Опрокииутые лодкн валялись на песке, как большие мертвые рыбы. На золоте песка лежалн тени печальиых ветел. В дали лугов стоят холмами стога сеиа, и мие вспомиилось ее сравиеиие:

«Точио африканская пустыия, а стога — пирамиды...»

Очищая другой апельсии, женщина повторила тоиом старшей и как бы наказывая меня:

— Да, была бы я вашей жеиой...

— Благодарю вас,— сказал я,— благодарю.

Я благодарил ее — искреиие».

КЛОУН

Одиажды, проходя корндором цирка, я заглянул в открытую дверь уборной клоуна и остановился, заиитересованный им; в длиииом сюртуке, в цилиндре и перчатках, с тростью под мышкой, ои стоял перед зеркалом н, ловкою рукой красиво приподиимая цилиндр, раскланивался со своим отражением иа стекле.

Заметнв в зеркале мое удивленное лицо, он быстро обернулся ко мие и сказал, улыбаясь, указывая пальцем иа свое лицо и в зеркало:

— Я — я! Да?

Потом отодвннулся в сторону, его отражеиие в зеркале исчезло, ои медленно провел рукою по воздуху н снова сказал: — Ньэт я! Понимайт?

Я ие понял этой игры, смутился и ушел, сопровождаемый его тихим смехом, ио с этого момеита клоуи стал необычио и тревожно иитересен для меия.

Был он англнчаиин, средних лет, с темиыми глазами, очень ловкий и забавный на ареие, посреди чериой воронки цирка. Его гладкое, сухое лицо казалось мие значительиым н умиым, а звоикий голос всегда звучал для меия иасмешлнво, почти иепрнятно, когда клоуи, играя на опилках ареиы, точио большой кот, выкрикивал искажеииые русские слова.

После поклоиов перед зеркалом я начал следить за ним, вертелся в антрактах перед узенькой дверью его уборной, наблюдая, как он мажет белилами свое лицо илн стирает краски с иего, сидя перед зеркалом. Что бы ои ни делал — ои всегда разговаривал сам с собою илн иапевал, присвистывая, какую-то песию, всегда одиу и ту же.

Я видел, как ои в буфете пил водку малеиькими глотками, и слышал, как спрашивает буфетчика:

— Кторри шас?

— Двеиадцатого десять.

— О, этот трудии. Ньэт трудни — оддин, дува, тири, чертири! Сами лёкки — чертири!

Ои бросил иа циик стойки серебряиую моиету и пошел иа улицу, напевая:

— Тири — чертири, тири — чертири...

Гулял ои всегда однн, а я ходил за ним, как сыщик, и мие казалось, что этот человек живет особенной, таииствеииой жизнью и смотрит на все так, как я иикогда ие сумею. Иногда я пробовал представить себя в Аиглии; иикем ие поиимаемый, страшио чужой всему, оглушеиный могучим шумом иезнакомой жизии,— сумел бы я жить, так же спокойио улыбаясь, в дружбе только с самим собою, как живет этот крепкий, стройиый щеголь?

Я выдумывал разиые нстории, в которых аигличаиии играл роль благородиого героя, усиащал его

всеми известными мне достоинствами и любовался им. Он напоминал мне людей Диккенса, упрямых в злом и добром.

Как-то днем, проходя по мосту через Оку, я увидал, что он, сидя на краю одного из плашкоутов, удит рыбу; я остановился и смотрел на него до поры, пока он не кончил ловлю. Вытаскивая на крючке ерша или окуня, он брал его в руку, подносил к своему лицу и свистел тихонько в нос рыбе, а потом, осторожно сняв ее с крючка, бросал в воду. Надевая червяка, он что-то говорил ему, а когда из-под моста выплывала лодка, клоун снимал шапочку без козырька и любезно кланялся незнакомым людям, а когда ему отвечали — делал страшно удивленное лицо, раскрыв рот, высоко приподнимая брови. Вообще он умел и, видимо, любил забавлять себя.

Другой раз я видел его на горе, в садике около церкви Успенья; он смотрел на ярмарку, клином врезанную между Волгой и Окой, держал в руках трость и, перебирая по ней пальцами, как по флейте, тихонько насвистывал. С ярмарки и с Волги всплывал в жаркое небо глухой, спутанный шум чужой жизни. По грязной воде, по радужным пятнам нефти тяжко ползали пароходы, баржи, лодки, доносился свист и скрежет железа, чьи-то широкие ладони мощно и часто хлопали по воде, а вдали, за лугами, горели леса и в дымном небе неподвижно стояло тусклокрасное солнце, лишенное лучей, плешивое.

Постукивая палкой по стволу дерева, клоун запел, тихонько и молитвенно:

— Оун, доун, лоун, дир...

Лицо его было грустно и серьезно, брови сдвинулись; странные звуки песни вызвали у меня какое-то боязливое настроение,— мне захотелось проводить этого человека домой, на ярмарку.

Вдруг откуда-то явилась сердитая, шершавая собака. Она прошла мимо клоуна, села в двух шагах от него на пыльной траве и, протяжно зевнув, покосилась на него,— клоун выпрямился и, приложив трость к плечу, прицелился в собаку, как из ружья.

— Урр,— тихонько зарычала собака.

— Рр — гау! — ответил клоун на хорошем собачьем языке. Собака встала и обиженно ушла, а он оглянулся и, заметив меня под деревом, дружески подмигнул мне.

Он был одет щегольски, как всегда,— в длинный, серый сюртук и такие же брюки, на голове блестящий цилиндр, на ногах красивые ботинки. Я подумал, что только клоун, одевшись по-барски, может вести себя на улице, как мальчишка. И вообще мне казалось, что этот человек, чужой всем, лишенный языка, чувствует себя так свободно в суете города и ярмарки лишь потому, что он — клоун.

Он ходил по панелям, как важная персона, никому не уступая дороги, сторонясь только перед женщинами. И я видел, что, когда кто-либо в толпе касался его локтем или плечом, он всегда, спокойно и брезгливо, что-то смахивал рукою в перчатке с того места, которого коснулся чужой. Серьезные русские и иные люди толкались беззаботно и, даже наскакивая на нос друг другу,— не извинялись, не приподнимали картузов и шляп вежливым жестом. В походке серьезных людей было нечто слепое, обреченное,— всякий ясно видел, что люди торопятся и у них нет времени уступить дорогу другим.

А клоун гуляет беззаботно, как сытый ворон на поле битвы, и мне кажется, что он своей вежливостью хочет смутить и уничтожить всех на своем пути. Это — или, может быть, нечто другое в нем — неприятно задевало меня.

Разумеется, он видел, что люди грубы, понимал, что они походя оскорбляют друг друга грязной бранью,— не мог он не видеть и не понимать этого. Но он проходил сквозь потоки людей на панелях, как будто ничего не видя, не понимая, и я сердито думал:

«Притворяешься, не верю я тебе...»

Но я счел себя положительно обиженным, заметив однажды, как этот щеголь помог встать пьяному, которого опрокинула лошадь, поставил его на ноги и тотчас, сняв осторожными движениями пальцев свои желтые перчатки, бросил их в грязь.

Парадное представление в цирке кончилось позднее полуночи. Был конец августа; из черной пустоты над однообразными рядами зданий ярмарки сыпался мелкой стеклянной пылью осенний дождь. Мутные пятна фонарей таяли в сыром воздухе. По избитой мостовой гремели колеса пролеток, орала толпа дешевой публики, вытекая из боковых дверей цирка.

Клоун вышел на улицу одетый в длинное мохнатое пальто, в такой же мохнатой фуражке на голове, с тростью под мышкой. Взглянув вверх, в темноту, он вынул руки из карманов, поднял воротник пальто и, как всегда, не торопясь, но спорыми шагами пошел через площадь.

Я знал, что он живет в номерах недалеко от цирка, но он шел в сторону от своей квартиры.

Я шагал за ним, слушая, как он насвистывает.

В лужах, среди камней мостовой, тонули отблески огня, нас обгоняли черные лошади, хлюпала вода под шинами колес, из окон трактиров буйными потоками лилась музыка, во тьме визжали женщины. Начиналась беспутная ночь ярмарки.

По панелям уточками плыли девицы, заговаривая с мужчинами,— голоса хриплые, отсыревшие.

Вот одна из них остановила клоуна; басом, точно дьякон, позвала его с собой,— он отступил, выдернул трость из-под мышки и, держа ее, как шпагу, молча направил в лицо женщины. Ругаясь, она отскочила в сторону, а он, не ускоряя походки, свернул за угол, в пустынную улицу, прямую, как струна. Где-то далеко впереди нас хохотали, шаркали ногами по кирпичу тротуара, болезненно взвизгивал женский голос.

Два десятка шагов — и я увидал при тусклом свете фонаря, что на панели возятся, играя с женщиной, трое рядских сторожей,— обнимают ее, мнут и тискают, передавая с рук на руки друг другу. Женщина взвизгивает, точно маленькая собачка, спотыкается, качаясь под толчками здоровых лап, и панель во всю ширину занята возней этих темных, сырых людей.

Когда клоун подошел вплоть к ним, он снова вынул трость из-под мышки и снова стал действовать ею, как шпагой, быстро и ловко направляя в лица сторожей.

Они — зарычали, тяжко топая ногами по кирпичу, но не давая дороги клоуну, потом один из них бросился ему под ноги, глухо крикнув:

— Хватай!

Клоун упал; мимо меня стремглав пронеслась растрепанная женщина, одергивая на бегу юбки и хрипя:

— Псы... Сво-очь...

— Вяжи,— командовал кто-то свирепым голосом.— Аг-га, ты палкой?

Клоун звонко крикнул какое-то чужое слово,— он лежал на панели вниз лицом и бил каблуками по спине человека, который сидел верхом на его поясницe, скручивая ему руки.

— О-о, дьявол! Поднимай его! Веди!

Прислонясь к чугунной колонне, поддерживавшей крышу галереи, я видел, как три фигуры, плотно сомкнувшись во тьме, уходят в сырую тьму улицы, уходят медленно и покачиваясь, точно ветер толкал их.

Оставшийся сторож, присев на корточки, зажег спичку и осматривал панель.

— Тиша! — сказал он, когда я подошел,— не наступи на свисток, свисток я потерял...

Я спросил:

— Кого это повели?

— Так, какого-то...

— А за что?

— Стало быть — надо...

Мне было неприятно, обидно, а все-таки помню, я подумал, торжествуя:

«Ага?»

Через неделю я снова увидал клоуна,— он катался по арене пестрым котом, кричал, прыгал.

Но мне показалось, что он «представляет» хуже, скучнее, чем раньше.

И глядя на него, я чувствовал себя в чем-то виноватым.

ЗРИТЕЛИ

Июльский день начался очень интересно — хоронили генерала. Ослепительно сияя, гудели медные трубы военного оркестра, маленький, ловкий солдатик, скосив в сторону зрителей кокетливые глаза, чудесно играл на корнет-а-пистоне, и под синим безоблачным небом похоронный марш звучал, точно гимн солнцу.

Гроб, покрытый венками, везли огромные вороные лошади, они били копытами по булыжнику мостовой, почти в такт гулким вздохам большого барабана. Медленно шагали солдаты, в белых рубахах, в ярко начищенных сапогах, новенькие, точно вчера сделанные для этих похорон; над их темными лицами сверкали лучи штыков. Раскаленная солнцем, горела позолоченная медь пуговиц на мундирах офицерства, ордена на выпуклых грудях — точно цветы. За стройною массой белых солдат густо текла пестрая толпа горожан, кисейное облако пыли колебалось в воздухе, и все было покрыто медным пением светлых труб.

Обыватели Прядильной улицы высунулись в окна, выскочили за ворота, повисли на заборах, жадно любуясь великолепным отъездом генерала в жизнь бесконечную. Они наслаждались даровым зрелищем в том настроении, которое всегда и невольно внушает наблюдающему за ними невеселую мысль о том, что все события мира совершаются для удовольствия бездельников.

Все шло прекрасно, стройно и торжественно, вполне соответствуя праздничному ликованию июльского дня, и хотя хоронили человека, но в Прядильной улице смерть была слишком привычным явлением, она не возбуждала ни грусти, ни страха, ни философических размышлений; бедные похороны не являлись зрелищем увлекательным, а только углубляли скуку жизни, эти же, генеральские, подняли на ноги всех людей, от подвалов до чердаков.

Все шло прекрасно, но — вдруг откуда-то выскочил дико растрепанный дурачок Игоша Смерть в Кармане, его растрепанная фигура испугала рыжую монументальную лошадь жандарма,— лошадь метнулась в сторону, опрокинула даму в лиловом платье и, наступив железным копытом на ногу сироты Ключарева, раздавила ему пальцы.

Суматоха развеселила зрителей, особенно смешно было видеть, как лиловая дама, солидного купеческого сложения, шлепнулась в пыль, навзничь, и, запутавшись в пышных юбках, повизгивая, безуспешно пытаясь встать, дергала толстыми ногами. Она, видимо, сильно испугалась и ушиблась, ее большое лицо побелело, глаза болезненно выкатились. Конечно, смех зрителей был неуместен, жесток, но — уж так издревле ведется — смешон упавший ближний людям, для которых весь мир — только зрелище.

Но смех умолк, когда увидали, что сирота Ключарев ползет к забору, волоча за собою раздавленную ногу, а из нее в серенькую пыль улицы течет ручей ярко-алой крови.

Кровь имеет свойство привлекать особенно напряженное внимание вечных зрителей, они всегда смотрят на нее особенным, молчаливо-жадным взглядом — это у них тоже древнее пристрастие.

И вот, позабыв об усопшем генерале, о купчихе, поверженной во прах улицы, зрители живо сгрудились тесным кругом около сироты, прижавшегося к забору, и глядя, как он истекает кровью, как адова боль в раздавленных костях искажает его маленькое, посиневшее лицо, они спрашивали его:

— Больно, Коська?

Морщась, то подгибая, то вытягивая изуродованную ногу, мальчик бормочет:

— Ух... Вот те — и раз! Вот и пошел на богомолье...

Он храбрился, перемогаясь, а зрители предвещали ему:

— Задаст тебе Гуськов...

— Ах ты, разиня чертова! Чего тебе хозяин сделает за это, а?

И кто-то замечательно разумно сказал:

— Брось перед ним в пыль копейку, сразу увидит, а лошадь — не видал, прохвост!

Мальчик обиженно возразил:

— Я — видел, да я упал, она ведь меня в живот лягнула...

Его окружили мальчишки, внимательно разглядывая окровавленную ногу; один из них — худенький, с голубыми глазами — кошачьим движением ноги забрасывал пылью темные, влажные пятна крови. Стараясь спрятать кровь, он робко оглядывался, точно ожидал, что его побьют за это. Его товарищи хвастливо вспоминали о своих ранах — о порезах, ссадинах, ушибах и других молодецких увечьях, которые они получили в играх, драках и от внимания старших.

Сердобольные люди советовали Ключареву:

— Присыпь землей иогу!

— Надо паутииой, а ие землей.

— Паутина — это от пореза.

Подошел хозяии сироты, переплетчик Гуськов, прозваиный Биллиардмастером, человек иебрежио и иаскоро сшитый из неуклюжих костей и старой вытертой кожи, лысый, с прищурениыми вдаль глазами иа пестром от веснушек лице, словио мухами засижеином.

— Так,— сказал он, спрятав руки за спииу и глядя в забор над головою ученика.— Я тебя, сукин сыи, куда послал? Я тебя за кожей послал али иет?

— Дядеиька,— со слезами воскликиул Коська, прикрывая руками голову.

Кто-то посоветовал переплетчику:

— Ты с него и сиими кожу-то!

Но другой зритель заметил:

— Не годится, тоика!

— Ну, что ж мие теперь делать с тобой? — вслух соображал Гуськов, задумчиво растирая волосатой рукой веснушки на щеке.— На что ты мие без иоги?

— Дядеиька! — слезио взмолился сирота.— Я завтра выздоровлею...

— Давай деиьги!

Коська извлек из кармаиа штаиов смятую зелеиую бумажку.

— Жевал ты ее, дьяволеиок? — спросил переплетчик, расправляя бумажку, покачиулся, вонзил свое длииное тело в толпу зрителей и исчез.

Старушка Смурыгииа, моя квартириая хозяйка, торговка семечками и пряниками, громко вздохнула:

— Вот они, хозяева-то!

Трусов, скорняк, человек серьезиый и благочестивый, оборвал ее:

— А ты — помалкивай, старая холява!

Буяи, пес Трусова, такой же солидиый, как его хозяии, поиюхал окровавлениую иогу мальчика, поднял свой толстый хвост, оскалив зубы, задумался.

— Гляди, ие цапиул бы ои! — предупредил иекий зритель толпу.

— Пшел!

Пса прогнали. Похорониая процессия уплыла за угол улицы, оттуда доносилась сухая дробь барабаиов. Пыль улеглась. Кругленькое личико ребеика было измазаио кровью, мокрое от слез, вылииявшие от боли глаза его уныло смотрели на изуродованную иогу, ои трогал пальцами рукн раздавлениые косточки и, вздрагивая, шмыгал иосом.

— В четверг,— бормотал ои,— я бы иа богомолье ушел, иа Бараиов ключ... Отпускал хозяии-то... Ах ты, господи...

— Завязать бы иогу-то,— посоветовала старушка Смурыгииа и ушла.

Сирота, цапаясь за доски забора, попробовал встать иа иоги, но, вскрнкиув и схватнвшись за живот, упал.

— Ишь как! — сочувствеиио заметил один из толпы, а мальчик выл:

— Что я буду делать?

— Хромать будешь,— утешили его.

Стаиовилось скучио. Первыми разбежались мальчишки, потом, одии за другим, разошлись взрослые зрители, улица опустела, оголнлась — Ключарев остался у забора один, малеиькой кучкой пыльиого тряпья.

На мостовую слетелись воробьи, голуби, со дворов вышли, кудахтая, наседки н важные петухи, в домах застучали молотки жестяииков, забарабаиили тоикие палочкн скорияков, сапожник Дрягни, солдат иа деревяииой иоге, угрожающим басом запел едииствеииую песию, зиакомую ему:

В семьдесят семом году
Объявил турок войну
На Россиюшку на всю,
На матушку на Москву...

Скука стала гуще, тяжелее.

Я наблюдал и слушал все это из окиа подвала, из темной иоры, где жила старушка Смурыгииа. Утром, иакануне этого дия, работая иа пристани, я упал в трюм, вывихнул себе правую руку и разбил колено. Всю иочь ие спал от болн, а теперь, сидя иа подокоинике, смотрел иа похороны, на зрителей н на сироту Ключарева — ои лежал иа другой сторое улицы, как раз протнв моего окиа.

Когда зрнтели разошлись, я крикиул ему:

— Костя, ползи сюда!

Он сумрачио огляиулся, увидал мою голову иад землей н, сморщившись, ответил:

— Больио — смерть как!

— Не можешь?

Ои иаклоиился вперед и, упираясь руками в землю, попробовал ползти, но тотчас со стоном свалился иа бок. Поплакал мннуту, потом сказал, размазав слезы по лицу:

— Живот она мие... В больиицу бы меия...

— Городового иет иа углу?

— Городовой на кладбище ушел...

Он замолчал, подергиваясь.

Чьн-то толстые иоги в рыжих истоптаииых сапогах поравиялись с моим окном, я крикнул:

— Эй!

Ногн остаиовились, ко мие молча иаклоиилось большое лицо в бороде из овчииы.

— Мальчоика-то в больиицу надо свезти.

— Ну? Вези!

— Не могу, сам болеи.

— А я ие с этой улнцы...

Человек влажио закашлялся и ушел. Следующий обыватель отнесся к моему предложеиию несколько ииаче — ои подошел к мальчику и иапутственно сказал:

— Добаловался, подлец? Тебя ие в больиицу иадо, а в пруд, куда дохлых кошек кидают.

И, в созиаиии исполнеииого долга, не торопясь, исчез.

Было уже около полудия, июльская жара сгущалась; под прямыми лучами солица трещал тес крыш, воробьи и голуби прятались в тень, а мальчик лежал на солиечной стороне иа прнпеке и, ярко облитый зноем, стаиовился все серее. Вытяиув раздавлеииую ногу, подогнув здоровую, ои плотно прижался к забору, перекладывал голову с ладони иа ладонь и бормотал, как в бреду.

— Ты что, Костя?

— Так.

Но, помолчав, жалобио сказал:

— Когда Мишке Третьему кирпичом разбило палец иа ноге, так он уж через день ходил. На пятке, а — ходил все-таки...

— И ты пойдешь...

Раза два ои пробовал подияться, его малеиькие пальчики втыкались в щели забора, но руки бессильно падали. Мие казалось, что я вижу, как распухает

его иога,— вся ступня у него какая-то рыжая, точно кусок ржавого железа.

Он попросил пнть, но улнца была пустыина, даже детн куда-то попряталнсь от жары. Со дворов, нз окон непрерывно нстекал скучный, слншком знакомый шум трудового дня. Редкие прохожне солнечной стороны не обращалн внимання иа мальчнка, думая, видимо, что он спит; к моим окрикам онн относнлись равиодушно, счнтая нх озорством бездельника. Те, которые шлн моей стороной, тоже не винмалн мне — большнство, очевндно, было «не с этой улнцы», а остальные — слишком заияты свонми деламн. А мальчнк все жарился на солнце.

Мие тоже было не очень хорошо, мучнла боль в плече и колене, н невыразимо терзало сознание бессилня. Так странно: в пятиадцати шагах от меня лежнт человек, нуждаясь в немедленной помощн, мнмо него ходят подобные ему и — не хотят помочь. Не хотят...

Несколько сотеи людей живет на улнце, все дома тесио иабиты нми, над моей головой неумолчно возятся переплетчнкн, вся улнца предо мною засорена прнзнаками обилия людей. А я чувствую себя в пустыне, и, несмотря на душную жару, в сердце у меня злой, раздражающнй холод.

Маленькнй замызганный солдатнк с медной кастрюлей в руке остаиовился около Ключарева, подробно расспросил его — что с ннм случнлось, сколько лет мальчнку, кто и где его роднтели, посоветовал прнложнть к ноге лист лопуха и ушел, обещая мне:

— Я бутаря прншлю — ои расстарается, это его дело!

Но, должно быть, ои ие иашел бутаря, а солнце накаливало улнцу все снльнее, мальчнк лежал неподвижио и тихоиько стонал.

Тощнй боровок остановнлся у моего окна, похрюкал и, точно получнв от меня спешное поручение, убежал, встряхивая ушами, повизгивая.

Проехал водовоз, расплескнвая воду нз бочкн, покрытой мокрым мешком, я попроснл его дать мальчнку воды, но он ни слова ие ответнл, сндя на бочке деревянным ндолом.

Тогда я сердито, не щадя голоса, стал звать на помощь — это подействовало: за ворота выбежали людн, спрашивая друг друга:

— Кто орет? Где это?

Перед моим окном прнсел молодой скорняк с папнросой в зубах.

— Ты чего орешь?

Я объяснил ему, а он, выслушав меня, сообщнл публнке:

— Это Смурыгиной постоялец, крючннк, вндио — пьяный, лается: чего, говорит, мальчншку не свезете в больннцу!

— А ему какое дело?

— Пьяиый...

Сначала оии говорилн добродушно, ио узнав прнчнну крнка — рассердилнсь. Скорняк развеселнл нх, он незаметно для меня подошел сбоку н высыпал мне на голову прнгоршню пылн, это очень рассмешнло зрителей.

Сдержав желанне нзругать нх, я начал убедительио доказывать, что иельзя бросать людей на улнце, как собак, н что каждый человек, даже маленькнй, заслужнвает сострадаиня.

— Верно говорнт! — согласился со мной некто невндимый.

— Верно? Так сам бы н сбегал за полнцией.

— Больиой он, вндншь ты!

— Больной, а — орет!

— В сам-деле, надо убрать мальчоика, а то придет полнция, потащит нас в свидетелн...

— Протнв лошадн — какой же свндетель?

— Тут — жандар!

— И протнв жаидара — не полагается...

Я мотал головой, стряхнвая пыль, н вдруг меня мягко ушнбла струя холодной воды — это скорняк, увлеченный успехом шуткн своей, вылил на голову мие целое ведро. Снова гряиул смех.

— Ловко-о!

— Глядите, как осерднлся!

— Ой, батюшки...

Я крепко обругал веселых зрнтелей, это не обидело нх, а кто-то прнмнрнтельно заметнл:

— Чего тявкаешь? Тебя не помоямн облнлн, а чнстой водой...

Это меия ие утешило, ругаясь, я продолжал убеждать нх:

— Чертн клетчатые — ведь вы же поиимаете, что мальчоику надо в больиицу свезти? Ведь антоиов огонь может прикинуться!

Мне возражалн:

— Ну — поннмаем! А ты что за начальство? Морда!

И сиова кто-то, незаметно подкравшись, высыпал на мою мокрую голову горсть пыли, н снова все смеялись весело, как детн, прнтоптывая, всплескивая рукамн, а я сполз с подоконника н свалнлся на койку, чувствуя себя раздавленым шуткамн.

За окном говорнли, успокаиваясь:

— Горяч больно!

— Из пожарной бы кншкн полнть его...

— Кто бы свел мальчонку в участок?

— В аптеку?

— И то! Положить на крыльце, а уж аптекарь распоряднтся.

— Эй, Коська, вставай! Можешь ндтн?

— Обмер...

— Надо несть его.

— Это тебе, Саша, надо!

— Отчего — мне?

— Там кабак рядом...

Засмеялнсь.

— Ну, ладно, я снесу,— согласился Саша и заговорил ласково:

— Эх ты, кусок... Ну, ничего, не пнщн! То-то вот,— озоруете вы, матернны детн, а я возись с вамн нн за что нн про что...

Словно он каждый день таскал в аптеки нзуродованиых мальчнков.

Зрители разошлнсь, н снова на улице стало тнхо, точно иа дне глубокого оврага.

Воскресный вечер. Красноватые отсветы блестят на стеклах окон еднпственного дома, видиого мие нз подвала. Дом — в два окна, старенькнй, осевший к земле, он похож на нищего, который утомленно присел между двух растрепанных заборов. На лице его застыло сердптое унынне.

По улнце бегают дети, подннмая облака розоватой пыли; где-то блнзко играют на гармонике, рычнт пьяный ломовой нзвозчик, костлявый великан, по прозвищу Сушеиый Бык.

Примостившись иа подоконнике, я слушаю чью-то леннвую речь:

— От запоя молятся ему потому, что он сам пьяница был...

— Ну-у,— недоверчиво тянет другой голос,— это не резон для святости; эдак-то у нас половина улицы святых...

Первый голос сердито прерывает невера:

— А ты — слушай! Идет он, пьяненький, рано утречком домой, а солдаты христианам головы рубят...

— Чьи солдаты?

— Ихние...

Голоса звучат тягуче, в каждом слове чувствуется клейкая русская ленца. И солнце заходит лениво, как будто ему известно, что завтра оно будет светить тем же людям, услышит те же речи.

Маленькая девочка идет мимо моего окна и, отирая слезы, шепчет громко:

— Ведьма... погоди!

— Рубят, значит. Поглядел Вонифантий, поглядел, а был он доброй души человек, хотя и богач...

— Что ж, и между богачами добряки есть, примерно — Троеруков, Петр Иванов...

Какая-то женщина просит:

— А ты не перебива-ай!

— Я — к слову.

— Да. Поглядел, да и говорит: «Ах вы, говорит, такой-сякой народ! За что вы этих избиваете насмерть! Я, говорит, сам во Христа верую!» Тут его сейчас схватили и р-раз! — тоже голову напрочь. А он преспокойно взял ее за волосья, положил под мышку себе и пошел по улице, и пошел!

— Т-та? Пошел?..

— Так и в житии написано?

— А то сам, что ли, я придумал!

— Н-да! Эдак — не выдумать. Ах ты, боже мой! Поглядеть бы раз в жизни на эдакое чудо, а то — живешь, живешь...

Рассказчик продолжает:

— Тут солдаты эти и все зрители, испугавшись до смерти, бросились бежать кто куда и тоже уверовали!..

— Уверуешь!

— А он идет и поет — Христос воскресе!

— В нашу бы пору что-нибудь эдакое...

— Наша пора — что? Слава те господи! А тогда — чихнул не так — башку долой! Строгость была.

— Человек — нипочем, дешевле дров...

— Дай-кось покурить...

Замолчали. Над криками детей грянул бас Сушеного Быка:

— И я те дам пудовку в маковку!

За моим окном снова начинается беседа; знатока римской жизни спрашивают:

— А как тогда — богаче жили люди?

— Ровнее. Особенных богачей не было, ну, и бедность не дозволялась.

— Не дозволялась? Как это?

— Такой закон был.

— Умный народ...

Женщина спрашивает:

— А сказывается — христиане бедные были?

— Это — после.

— После чего?

— После турецкого разорения. Как турки Царьград забрали, тут пошло разорение... разорился весь народ и принял нашу веру...

— Ага! Так-так-так...

Веселый женский голос крикнул:

— Глядите-ко,— кого это Гущин везет?

По улице шагала пегая лошадь, влача за собой разбитую телегу, на телеге сидел пьяненький ломовик Гущин, весело помахивая вожжами, спиной к нему торчал полицейский, а между ними помещался тесовый, окрашенный охрой небольшой гроб.

— Гущин — кого везешь? — спросил голос, рассказывавший о мученике Вонифатии.

Старичок извозчик охотно отозвался:

— Вашего... этого — сиротку...

— Коську?

— Его.

— Неужели — помер?

— А — как же? Живого не схороним, не бойсь!

Телега проехала. Откуда-то выскочил Буян, понюхал землю, фыркнул и, поджав хвост, скрылся в щель забора. Мальчишка кричал:

— Братцы — это Коську Ключарева хоронют!..

— Н-да-а,— говорили у ворот,— помер, значит, мальчонко...

— А ведь смирный был!..

— Больница!..

— Туда — только попади, а уж на кладбище они сами отвезут...

— Дешевы люди...

— Им что, докторам? Им бы жалованье в срок получить...

И снова раздался мерный голос:

— А то еще есть житие Кирика-Улиты...

Солнце скрылось, красные отсветы в стеклах поблекли, и потемнела бесконечная голубая печаль небес.

ТИМКА

За окном моего чердака в нежных красках утренней зари прощально сверкает зеленоватая Венера.

Тихо. Старый, тесно набитый жильцами дом огородника Хлебникова мертво спит; это жалкий дом — серая развалина в два этажа, со множеством пристроек. Деловитый, купеческий город выгнал его на окраину, к полям орошения, он торчит среди отбросов города безобразной кучей дерева, одиноко и печально. В нем живут люди, никому — да и себе самим — не нужные, жизнь измяла их, высосала и выплюнула в поле, вместе с содержимым выгребных ям.

Все они ворчат, пьют, жалуются; ругают полицию, городскую управу, купечество, а всего больше и злее — друг друга. Чем они живут — нельзя понять, но кажется, что они высасывают друг из друга остатки жизненных сил и — этим сыты. Все они — безличны, их безличие особенно подчеркнуто тем, что многие женщины ходят в мужских пиджаках, а мужчины — в женских кофтах и кацавейках. Молодежи среди них — нет, и нет детей старше пяти, шести лет,— семилетние уже отправлены куда-то в город, «в работу», а маленькие — незаметны в доме, они, точно крысы, прячутся по уголкам, пугливые

и всегда голодиые. Только бывшая актриса Орлова, иищая и ростовщица, ие отдала в «работу» своих виучат-погодков Зиику и Сашку, сорваицов, которые совершеиио одичали и возбуждают у жителей Хлебиикова скрытую иеиависть и явиый страх. Их с иаслаждеиием избили бы, ио — иельзя: почти все должиы старухе Орловой, в кабале у иее.

Смеются квартираиты Хлебиикова редко и всегда злорадио; смеются иад параличиым чииовииком Вороицовым, который девять лет хлопочет о восстаиовлеиии его в правах иаследства к имуществу двоюродиой сестры бароиессы Торшоу; иад чистеиькой и аккуратиой, точио кошка, старушкой Бердниковой, дочерью интеидаита, умершего под судом,— оиа считается полуумиой, потому что тоже все хлопочет о восстаиовлеиии честиого имеии своего отца; смеются иад больиым дьякоиом Любомировым, расстрижеииым «за иезакоииую любовь» — как ои говорит, «за убийство в драке» — как утверждают другие.

Дьякои — огромный человек, очень волосатый, с малеиькими глазками кабаиа и зубами лошади; ои молчалив, задумчив и кажется смиреииым человеком, ио если при ием иарушается то, что ои считает «порядком жизии»,— ои говорит могильиым голосом:

— Взбучку дать!

В доме Хлебиикова только один человек живет всем слышиой и всеми видимой работой,— это боидарь Кешии, малеиький, крепкий человечек лет пятидесяти. Ои такой же чистый и порядочиый, как старушка Бердиикова, головка у иего малеиькая, круглая, светло-желтой кости, ее красиво окружает веичик седых кудрей, лицо — розовое, точио яблоко аиис, и иа ием серьезио блестят спокойиые, разумиые глаза. Говорит ои мало, высоким бабьим голосом, и иосит жидеиькие, длииные китайские усы, коицами виив,— это делает его розовую мордочку умильиой. Ои просыпается раньше всех в доме и тотчас иачииает колотить деревяииым молотком по бочкам, кадкам, лохаиям,— точио бьет в большой барабаи.

Вот и сегодия — еще ие погасла Веиера, а уж меия разбудил иепрерывиый, иазойливый звук:

Пам-пам-пам; пам-пам!

Недавио боидарь Кешин иаиял подручиого, двадцатилетиего хромого пария, с комической маской вместо лица; скуластый, как моигол, ои был ие куриос, как бы следовало, а украшеи прямым и длииным иосом, мягким, точио хобот, и смешио подвижиым. На смуглой коже его лица ярко, точио раиа, выделялись красиые, всегда влажиые губы, глаза у иего овечьи, цвета бутылочиого стекла. Угловатая голова густо заросла чериой, жесткой щетииой, ремешок иа лбу вздымает ее дыбом. Лицо смешиое и иеприятиое, тело — изломаииое, левое бедро перебито, ои ходит падающей походкой, закидывая левую иогу далеко в сторону.

Ои одет в кумачиую рубаху и сииие иаиковые штаны. Зовут его — Тимка.

На другой же деиь своей работы у боидаря Тимка привлек к себе общее виимаиие всех жителей хлебииковского дома,— утром, как только в огороде появились бабы-работиицы и запели модиую песию:

Некрасиаа я, бедиа,
Плохо я одета,
Никто замуж ие берет
Деаушку за это! —

иа дворе Хлебиикова зазвеиел высокий теиор, передразиивая огородииц:

У верблюда есть гиездо,
У коровы — дети,
У меия нет иикого,
Никого иа саете!

Сиачала бабы, согнувшись в три погибели и ползая между гряд, пели жалобиую песию, ие обращая виимаиия иа ядовитые четверостишия боидаря, ио ои иадоедал им, точио овод.

Я с пятиадцати лет
По людям ходила,—

тяиут оии свою паиихиду, а Тимка, постукивая молотком, дразиит:

Мие, девице, сорок лет,
Я вполие иеаиииа...

Чистеиький старичок Кешии, бросив работать, присел иа обрубок дерева и засмеялся мелким, всхлипывающим смехом, восклицая:

— Ах ты, шутило, глядите-ко, ловко как!

Из окои дома высуиулись серые, измятые рожи, иа двор вышли встрепаииые, полуодетые люди, все улыбались, разглядывая Тимку, вслушиваясь в его пеиие, а ои покачивался, ковыляя вокруг большой дубовой бочки, и пел, ловко и гулко постукивая молотком:

Я куриоса и ряба,
Малеиького росту...

— Чтоб те разорвало, окаяииый! — крикиула какая-то огородиица.

Это искреииее восклицаиие вызвало всеобщий восторг слушателей, все захохотали, и иа грязиом дворе стало иеобычайио весело. А тут еще из-за Паииской рощи иад полями орошеиия взошло солице и зажгло ярким огием выгоревшие стекла окои дома и париков.

В воздухе повеяло праздииком; иа дворе оживлеиио заговорили, и, вероятио, кое-кому показалось, что родился иовый деиь, приятио ие похожий на все прожитые.

— Вот — жулик! — говорит дьякои, с восхищеиием разглядывая Тимку.— Кешии! Где ты достал такого?

— Сам пришел,— сказал старый боидарь, усмехаясь и поглаживая усы.

А с крыльца раздался сердитый, хозяйский вопрос:

— Чего это вы ржете?

Там стоял Хлебииков, малеиький, толстый, в сером пальто, похожем иа арестаитский халат. Его рыжеватые брови вздрагивали, как всегда, когда ои был ие в духе, пальцы рук, сложеииых иа животе, быстро шевелились.

Тимка разогиулся, взгляиул иа иего овечьими глазами и дерзко запел:

Посмеялся мой подлец
Над клятаами своими!
Он — с одиой мие измеиил,
Я ему с троими!

Сиова все дружио захохотали, даже огородиицы ответили иа этот хохот слабеньким, смущеииым эхом.

А Хлебииков круто повериулся и ушел в сеии, громко сказав:

— Урод.

Вскоре стало ясно, что Тимка привлек к себе внимание всех жителей дома Хлебникова,— внимание, за которым чувствовалась даже как будто симпатия к некрасивому певцу.

Вечерами, когда жители, по обыкновению, собирались у ворот посплетничать до ужина и до сна, дьякон просил Тимку:

— Ну-ко, спой чего ни то сурьезное!

— Какое — сурьезное? — спрашивал Тимка.

— Ну, сам знаешь,— пояснял дьякон.

Хромой, прикрыв глаза, запевал удивительно чистым и высоким голосом:

Два разбойничка вдоль Волги идут,
С камня на камень попрыгивают...

Это выходило у него очень хорошо, как-то так, что все понимали: разбойники — добрые, веселые ребята!

А навстречу им — молоденький бурлак,
Он идет, горюн, прихрамывает.

Бурлак — замученный такой, лицо тупое, глаза сонные,— без надежд парень.

— Хорошо поет,— говорит актриса Орлова, опуская долу свою седую, лохматую голову.

— Молчи,— советует дьякон, и все слушают безмолвно, неподвижно.

Заходит солнце, в поле, на холмах мусора, лежат красивые отсветы зари, раскаленно сверкают куски жести, стекла́. Висят над полем пурпуровые клочья облаков, вдали синей тучей приникла к земле роща. Тихо.

Хромой стоит, прижавшись спиною к верее ворот, его смешное лицо как-то вытянулось, расправилось, стало приятнее; его глаза прикрыты, он закинул длинные свои руки за шею, выставив локти, выгнув грудь, он поет удивительно легко, точно жаворонок.

Бурлак говорит разбойникам:

В белом свете — ни души у меня,
Только две сестрицы родные,
Одна сестра — моя горькая Нужда,
А другая — Недоля моя!

— Ишь ты,— вздыхает дьякон, а Орлиха снова бормочет:

— Хорошо, очень хорошо!

Тимка не обращает внимания на сочувственный шепот, он, кажется, готов петь до утра.

Когда он кончил песню, дьякон сказал, почему-то очень сурово:

— Что же ты, дурачина, обручи набиваешь? Тебе надобно в хор поступать...

Тимка позевнул и отозвался:

— Сопьешься там. Певчие пьют завсегда.

— Имей характер! С таким голосом нельзя дурака валять. Учиться надо.

— Так я — учусь,— равнодушно сказал Тимка.— В воскресную школу хожу по праздникам. Там нас барыня учит, Марья Тимофеевна, так у нее голосище — куда лучше моего. Я перед ней — котенок!

Он говорил о барыне с оживлением, которое трудно было предполагать в нем, но его никто не слушал, кроме старика Кешина,— старый бондарь, сидя на лавке, разглядывал подмастерья озабоченно и серьезно, точно вещь, которую собирался купить. Вдруг над головою Кешина распахнулось окно, и раздался голос Хлебникова:

— Вы что же, братия, забыли, что теперь идет час всенощной службы, ведь ныне — суббота. Невежи, бесстыжие рожи! Я молиться встал, а у вас тут... а ты, парень, ая-яй! Не зря тебя господь наказал, болвана...

Окно с треском захлопнулось, все молчали.

— Хозяин? — спросил Тимка.

— Хозяин,— сказал дьякон, а Орлиха прибавила, искривив суровое свое лицо:

— Богомолец наш.

— Пойду спать,— объявил Тимка и спокойно, не спеша, ушел во двор.

— Талант,— тихонько сказала Орлиха вслед ему и шумно вздохнула.

Вокруг — очень грустно; поле, засоренное разным хламом, вонючий овраг, вдали — черная роща и нефтяные цистерны, всюду протянулись бесконечные заборы. Кое-где сиротливо торчат ветлы и березы.

Ни одного яркого пятна, все выцвело, слиняло, небо испачкано дымом химического завода, а в центре этой бескрасочной жизни — грязный, полусгнивший дом Хлебникова, у ворот его молча сбились тесной кучей отжившие люди.

Тимка быстро подружился с огородницами, и бойкие, бесстыжие бабы, окружая его, точно овцы пастуха, относились к нему с чувством, близким к почтению. Забавно было видеть, с какой завистью они заглядывали в рот ему, когда он пел свои хорошие песни. Их старша́я, костромичка лет пятидесяти, крупная и сильная, с кумачным лицом и наглыми глазами, просила его певуче, слащаво:

— Ну-ко, спой-ко ты нам, соловеюшко наш хроменький!

Он охотно пел, и огородницы наперерыв предлагали ему свои бабьи услуги — починить рубаху, выстирать ее. Он даром чинил квартирантам Хлебникова лохани, кадки, ведра, но во всем, что делалось им, не было заметно увлечения, он относился ко всему — удивительно равнодушно и жил точно во сне.

Говорил мало, неохотно и неумело,— всегда что-то не то, чего ждешь. В общем, Тимка был фигура невеселая, но все же до него люди в доме Хлебникова жили сердито и мрачно, а теперь — с утра Тимка передразнивает огородниц, целый день около него вертятся и орут внучата Орловой, хохочут жители, а Кешин, неутомимо набивая обручи, как бы руководит всеми звуками, но остается недосягаем волнениям, вносимым Тимкой.

По вечерам, во дни плохой погоды, Тимка является ко мне на чердак пить крепкий калмыцкий чай с баранками и слушать чтение стихов. Стихи он любит, но читать их сам не решается, хотя и хорошо знает грамоту.

— А ловко складено,— говорит он, выслушав стихотворения.

— Возьми, почитай!

— Нет, не надо...

— Почему же?

— Больно много написано, до середки дочтешь — начало забудешь.

— Да ведь здесь почти на каждой странице особое напечатано.

— Нет, не надо,— упрямо твердит Тимка.

У него в зеленом сундучке, расписанном пунцовыми цветами, накоплено много «песенников» — листовок, но они ему не нравятся.

— Не те песни,— говорит он.

— А тебе какие нужно?

— Получше.

Он сам довольно легко и ловко подбирает рифмы для сатирических четверостиший, которыми дразнит огородниц; бабы уныло поют:

Куплю на копеечку я спичек,
В горячей воде разведу.

А Тимка тотчас сочиняет:

Купи мне на кофтычку ситчик,
С тобой куда хошь я пойду...

— Зачем ты их дразнишь? — спрашиваю я.

— Так себе,— лениво говорит он.

— Ну, а все-таки?

— Ничего, съедят. Не люблю песен ихних, воют, воют, а всё врут. Песнями врать не надо, на то — сказка есть.

Покачивая щетинистой головою, он ухмыляется, в его овечьих глазах блестит насмешливая нежность.

— Вот я — некрасивый, да еще и хромой, а бабы — любят меня, будто я самый красавец. Ей-богу! Мне даже стыдно бывает через это. Один раз я спросил одну такую: «Чего ты ко мне жмешься, коли я некрасивый?» А она говорит: «Некрасив, да по сердцу!»

И, ухмыляясь еще более широко, он уверенно говорит:

— Это они меня — за песни. Только — врут они всё: я — такая, я — эдакая, судьба моя горькая, а все — одинаковы, все одного ищут. Я знаю.

Он — не хвастает, огородницы любят его, уже не раз я видел, как они обнимают его за крышами парников и в группе ветел, битых громом, я знаю, что они ловят его наперебой и мучаются, ссорятся от ревности.

— Видал ты,— спрашивает он, шмыгая длинным, смешным носом,— к хозяину моему ярославка приходит, полотнами торгует? Старик живет с ней, блудня, а она уж мне подмигивает, подлая! Я ее отобью у него.

— Зачем?

— Так.

— Обидишь старика.

— Ничего, съест,— равнодушно говорит Тимка.

— Тебе чего хочется? — спрашиваю я.

Он осматривает стол сытыми глазами.

— Спасибо, ничего не хочу.

— Нет, ты не понял меня! Тебе чего от жизни хочется?

— То есть — как это?

— Ну — в другой город уехать, богатым быть, жениться на красивой, учиться?

— А тебе на что это знать? — спрашивает он, подумав.

— Просто — интересуюсь.

— Ну... Чего я в другом городе найду? Бондари богато не живут. Девица и здесь найдется в свой час.

Иногда он холодно рассудителен, точно старик, но чаще кажется мне человеком, душа которого еще слепая, не прозрела да к тому же и заперта, как птица, в тесной клетке.

В школе его интересует больше всего барыня, у которой «голосище».

— Вроде — как бас, возьмет низко, так даже гул по горнице!

— Она чему учит?

— Как — чему? Петь. Она, брат, говорит мне, что если я выучусь по нотам, так мне тыщи дадут.

— А еще чему учат там?

— Ну... разному. Писать, читать. Всего скушнее — география. Всё — города разные, народы. Один город называется — Тумбукту. Ей-богу! Поди-ка — врут, нет такого города...

В сумраке вечернем его лицо становится благообразнее, одухотворенней. Говорит он со мною охотно, но у него нет слов, которые надолго запали бы в память сердца.

Когда я прошу его спеть, он садится к окну и, глядя в поле широко раскрытыми глазами, поет особенно старательно, особенно четко, рисуя гибким голосом все, о чем говорит песня.

И в этот час мне почему-то бывало очень жаль его.

Прекрасно чувствуя все, о чем поет, Тимка не видит, не понимает горя людей, окружающих его, и когда я, с трудом, навожу его на беседу о жильцах Хлебникова, он равнодушно отталкивает меня ленивыми словами:

— Ну, какие они люди! Мусор. Не работают. Тут только Кешин... он хоть около бога живет, четью минею читает.

И, покачивая длинным носом, облизывая губы тонким языком, говорит уверенно:

— А бабу эту я у него отобью! Не больно молода, а хорошая баба. Отобью.

Потом снова начинает песню. В его песнях всегда кто-то куда-то идет, кого-то любит, тоскует, и все люди песен — разбойники, девицы, бурлаки — такие хорошие, вдумчивые. А сам Тимка — никуда не хочет идти, ни о чем не тоскует и, кажется, не думает ни о чем.

Иван Лукич Хлебников возненавидел Тимку упрямой, необъяснимой ненавистью старого козла.

Хлебников — человек толстенький, но нездоровый, дыхание у него тяжелое, со свистом, лицо землистое, точно у покойника на второй день смерти, но — это очень бойкий и деятельный человек.

Тревожно благочестивый и всегда озабоченный несчастиями дома, города, мира, он находит десятки причин, по силе которых — нельзя петь песни.

— Эй ты, хромой прохвост,— орет он сиплым голосом, выскакивая по утрам на крыльцо нечесаный, немытый, в сером пальтишке, заменяющем халат.— Ты чего орешь? Ночью в городе пожар был, три дома сгорело, люди в слезах, а ты распустил глотку...

— Отстань,— говорит Тимка.

— Как это — отстань? Я что говорю,— пустяки, шутки?

И Хлебников набрасывается на Кешина:

— Семен Петров — ты что же? Ты человек разумный, ты его учи.

— Я не могу учить чужого человека,— говорит Кешин кротко, но как-то подзадоривающе.— Кабы он мне сын был, а то — племянник и прочее, пятое, седьмое...

— Ах, господи! — горестно изумляется огородник, закатывая под лоб маленькие, беспокойные глазки.

Он, к сожалению, читает по утрам местный «Листок», и у него, кроме канунов праздников, всегда имеется множество оснований запрещать пение: похороны известных людей, крушения поездов, слухи о плохом урожае хлеба, болезни высоких особ и разные несчастья на суше и на воде.

— Тимка, окаянная душа! — неистово орет он, высунувшись из окна и размахивая газетой.— Третьего дня Исай Петров Никодимов скончался, первейший благодетель города и кавалер орденов, его сейчас отпевают в соборе в присутствии всех именитых людей и губернатора,— не стыдно тебе, лубочная рожа?

Тимка — поет.

— Ты бы, Тимоха, тово, уступил бы и прочее, пятое, седьмое...— осторожно говорит Кешин, когда вой домохозяина надоест ему.

— Ничего, съест,— бормочет Тимка.

Хлебников трясется, топает ногами, лицо у него синее, глаза выкатились. Он доходит в гневе до того, что начинает швырять в хромого кусками обручей, палками, но это не возмущает Тимку; бросив работу, певец удивленно смотрит на огородника и потом, согнувшись, хлопнув себя по коленям ладонями,— смеется, говоря:

— Вот — домовой!

— Не дразни,— советует Кешин негромко и — кажется — неохотно.

— Да я его не трогаю,— спокойно говорит Тимка, принимаясь за работу.

А Хлебников, еще более раздраженный этим спокойствием, крикливо жалуется дьякону, задыхаясь, размахивая руками:

— Отец,— ты что же глядишь, ты должен унять его...

— Взбучку дать надо,— рычит дьякон гробовым басом, но когда Хлебников уходит, он грозит вслед ему волосатым кулаком и говорит:

— Фарисей.

И советует Тимке:

— Ты ему, другой раз, повеселее спой!

Все жители Хлебникова с величайшим интересом наблюдают, как, день за днем, растет ненависть огородника к хромому бондарю,— чуть только на дворе зазвучит сиплый голос хозяина — отовсюду из углов, из окон высовываются встрепанные головы, напряженные, измятые рожи.

Никто не осуждает Хлебникова, никто не спрашивает его о причинах ненависти к Тимке, все только любуются ею как забавным представлением, а некоторые поощряют хромого, науськивая его, как собаку:

— Ты про него спой!

— Чего про него споешь!

— А ты — придумай!

Только дьякон спросил однажды Орлиху, подругу своей жизни:

— Что это он воюет против мальчишки?

Умная и злая актриса объяснила, позевывая:

— Пришел срок,— он, может, всю жизнь ждал случая, на ком зло сорвать, а по плечу ему — никого не было. Теперь нашел подходящего человека и утешается...

Дьякон промолчал, видимо, не поняв старуху, а мне ее слова показались верными. Тимка же как будто хвастался отношением Хлебникова к нему:

— Здорово не любит он меня, видно — встал я ему поперек сердца!

— А что он за человек, по-твоему? — спросил я.

— Дурак человек,— ответил Тимка, не раздумывая.

— Как ты думаешь — за что он тебя не любит?

— Больно мне нужно думать о нем,— равнодушно сказал Тимка и звонко запел:

Метель-вьюга-а...

Кешин поглядел на него, на меня, усмехнулся и погладил усы.

Эх,—метель-вьюга в поле стелется,—

поет Тимка,—

Идет Дуня за околицу
На дорогу на проезжую,
Под березы, под столетния-а!

— Завыл, волк! — кричит Хлебников из двери сарая.

Отовсюду на голос Тимки выползают оборванные бездольники, забытые люди, а огородник — неистовствует, кричит Кешину:

— Семен Петров, ты человек благочестивый,— как же ты греха не боишься? Василиса Яхонтова вторые сутки разродиться не может, а он...

— Перестал бы, Тимоха,— говорит Кешин.— Что сердишь зря?

— Никто, кроме его, не сердится,— правильно замечает подмастерье и — поет, а мне кажется, что, если б его только хвалили, он пел бы хуже. В воротах явилась и стоит избочась торговка полотном, за спиною у нее тяжелый узел, в руке железный аршин. Ее лыковое лицо без бровей напряжено, губы приоткрыты, точно у птицы, которая хочет пить.

— Сапог нет у подлеца,— кричит Хлебников,— штаны завтра свалятся...

Тимка задорно поет:

Эх, ждала я тебя сорок ночей,
Ожидала — не дремала, не спала,
Черны думы горько думала,
Истомила свою душеньку!

Кешин, помахивая молотком, идет к воротам, говоря:

— Здорово, Прасковея Филипповна! Каковы дела?

Торговка полотном приходила к бондарю аккуратно каждое воскресенье, а иногда и в будни; они запирались в комнате Кешина, Тимка кипятил им самовар и отправлялся в огород, к бабам,— они жили там в дощатом сарае.

Иногда торговка выглядывала из окна, поправляя ловкими руками встрепанные волосы и прислушиваясь к чему-то. Ее круглые, вороватые глаза смотрели на всех и на все нагло и бесстыдно.

Нередко Кешин приглашал Хлебникова, и тогда на двор из открытого окна падали обрывки солидных речей.

— Ефрем-от Сирин до Златоуста жил али после?

— Точно — не знаю этого.

И все у них шло хорошо, скромно, аккуратно, но однажды поздно вечером, когда все жители Хлебникова улеглись спать, а я еще сидел у ворот, ко мне подошел Тимка и сказал, немножко хвастливо:

— Уговорился с ней.

— С кем?

— С ярославской. Завтра ночую у нее.

— Узнает Кешин — рассчитает тебя.

— Ну, так что!

Помолчал, покачал головой и вздохнул:

— Беда!

— Какая?

— Так.

И с явным удивлением заговорил тихонько:
— На что мне она, торговка эта? Ведь сыт я,— огородницы меня любят, которая хошь. А — не нравится мне хозяин: зачем он с Хлебниковым в дружбе? За глаза — поносит его, ругает, а сам в гости зовет... Ну, так я его тоже обману!
— Зря ты делаешь это.
— Конешно — зря! — согласился Тимка.
Над полем висели черные клочья облаков, между ними, в синих просветах, блестят круглые звезды. Где-то отвратительно воет собака. Тихонько просвистела шелковыми крыльями ночная птица.
— Скушно,— сказал Тимка.— Пойду спать...
На дворе послышался голос Кешина:
— Ты — съезди.
— Надо,— кратко молвила торговка.
— Дом — хороший. Прямо над рекой. И сад. Двенадцать яблонь.
— Ну, прощай.
За ворота вышла торговка, кутаясь в шаль; Тимка встал и пошел рядом с ней, спрашивая:
— Венчаться уговаривает?
Она не ответила, поглядев на меня и не останавливаясь.
— Старый черт,— сказал Тимка, погружаясь в сумрак.
— Тише,— внятно отозвалась женщина.— Ты этим — не шути, это дело серьезное для меня...
Над моей головой открылось окно, высунулся Хлебников в белой рубахе и забормотал:
— Это кто пошел, а? Кто?
Он сейчас же исчез, а через минуту выскочил за ворота в одном белье и, приложив ладонь ко лбу, наклонившись, стал смотреть вслед паре, тихонько уходившей вдоль забора, по медным пятнам луны. Я встал и пошел во двор, но огородник обогнал меня, трусцой подбежал к окну Кешина и застучал в стекло.
— Семен Петров — выдь-ка!
Потом оба они снова побежали за ворота, и Хлебников говорил, захлебываясь словами:
— То-то! У эдаких совести нет...
Кешин на бегу спотыкался и мычал.
Они долго стояли у ворот, глядя вдаль и разговаривая шепотом, только Кешин дважды громко сказал:
— Так...
Потом он же внятно и спокойно выговорил:
— А пожалуй, дождик будет ночью.
Хлебников ушел первый; проходя мимо крыльца, за которым я стоял, он бормотал:
— Дурак...
Потом, не спеша, прошел к себе чистенький бондарь, вздыхая по пути:
— О господи... господи!

Я нашел работу и, уходя из дома на рассвете, возвращаясь усталый поздно вечером, потерял возможность наблюдать ленивенькое течение жизни в доме Хлебникова. Мне даже казалось, что она стоит на одном и том же месте, как вода в омуте, где не водится никаких чертей и нельзя ожидать значительных событий.
Но вдруг эта жизнь разрешилась темной драмой.
В августе, когда на огородах копали свеклу, брюкву и репу, суток двое непрерывно, днем и ночью, шел дождь, то — ливнем лил, то — сыпался по-осеннему настойчиво, мелкий и холодный. К утру третьих суток дождь снова хлынул потоками, оглушительно бил гром, сверкали страшные синие молнии, а на рассвете тучи точно рукою смахнуло, и на чисто вымытом небе празднично расцвело удивительно яркое солнце.
В огород вышли голоногие бабы, подобрав юбки до колен; из окна моего чердака я слышал их веселый хохот, визг, стук железных лопат, отвратительный скрип несмазанного колеса тачки.
Но вдруг все звуки исчезли, точно утонув в серебряных лужах, между гряд. Я шел по двору, на работу в город, когда меня ударило это неожиданно наступившее молчание и затем, через несколько секунд, пронзительный бабий визг:
— Девоньки-и — кричите-е!
И десяток голосов сразу создал целый вихрь испуганных криков; по грядам из огорода на двор бросились две девушки, одна кричала:
— Иван Лукич!
А другая:
— Батюшки!
Я бросился в огород,— там, у забора, около парников, в раскисшей земле лежал вниз лицом Тимка, плотно облепленный мокрой рубахой. Солнце, освещая влажный кумач на его костлявой спине, придавало материи жирный блеск свежесодранной кожи. Левая его рука, странно изогнувшись, пряталась под грудью, закрывая ладонью лицо, правая откинута прочь и утонула в грязи, торчал только мизинец, удивительно белый.
За спиной у меня раздался густой голос дьякона:
— Это — не молнией, а — лопатой, вот она, лопата!
Босою отекшей ногой он трогал замытую в грязь лопату и, мрачно надувшись, смотрел на Хлебникова, который стоял рядом с ним в пиджаке, в подштанниках и одной галоше.
— Не тронь,— крикнул Хлебников.— До полиции ничего нельзя трогать!
Дьякон поднес к его лицу огромный, красный кулак и громко сказал:
— Это твое дело!
— Чего-о? — взвизгнул огородник, подпрыгнув.— А ты понимаешь, что сказал, а?
Дьякон угрюмо отошел в сторону, а бабы, наваливаясь одна на другую, бормотали:
— Кто же это, кто?
Старостиха, всхлипывая, крестилась и точно молитву читала, повторяя:
— Ему не надо — кто. Ему ничего не надо!
Влажный ветер, стряхивая с деревьев листья, осыпал ими живых и мертвого.
Хлебников сипло ругался, а дьякон гудел:
— Это все из-за вас, бабы...
День разгорался ярче, сырой воздух, становясь теплее, обдавал запахом бани, укропа. Я смотрел на мизинец Тимофея, жалобно высунувшийся из грязи, на его вспухший затылок,— дождь гладко причесал жесткие волосы, и под ними было видно синюю кожу.
— А где Кешин? — вдруг закричал огородник.— Зовите его!
— Сейчас я схожу,— услужливо предложил дьякон и пошел, тяжело шлепая по лужам босыми ногами. Я отправился за ним. На дворе дьякон тихонько сказал мне:
— Конечно,— это Хлебников... верно?
Я промолчал.

— Ты как думаешь?

— Не знаю кто...

— И я не знаю, конечно. Кто-нибудь убил же! Без озлобления — не убьешь. А кто злобился на него? Ага!

Дверь в квартиру Кешина была ие заперта, мы вошли, оглянулись,— в полутемиой комнате было тихо, пусто.

— Где же ои? — бормотал дьякон.— Эй, Кешин!

На столе у окна, освещениая солицем, лежала малеиькая книжка, я взглянул в нее и прочитал на чистой страиице крупиые угловатые слова:

Обупокоенiи
новопреставленнаго раба Семенна.

— Смотри-ко,— сказал я дьякоиу.

Он взял книжку в руки, приблизил к лицу, прочитал запись вслух и бросил киижку на стол.

— Обыкиовеиное поминаиье...

— Его тоже Семеном зовут.

— Ну, так что? — спросил дьякои и вдруг посерел, вздрогнул, говоря:

— Стой — иовопреставленного? Ново...

Ои выбежал в сени, иа что-то иаткнулся там, загремел и дико зарычал:

— У-у...

Потом в двери явилось его туловище,— он, сидя иа полу, протягивал руку куда-то в сторону, пытался выговорить какое-то слово и — не мог, дико выкатывая обезумевшие глаза.

Я, испуганный, выгляиул за дверь,— в темном углу сеией, около кадки с водою, стоял Кешин, склонив голову на левое плечо, и, высуиув язык, дразнился. Его китайские усы опускались неровно, один торчал выше другого, и черное лицо его иронически улыбалось. Несколько секунд я присматривался к нему, догадываясь, что он повесился, но не желая убедиться в этом. Потом меня вышибло из сеней, точно пробку из бутылки, за мною вылез дьякон, сел на ступенях крыльца и жалобио забормотал:

— Вот,— а я на Хлебникова подумал... ах, господи!

По двору бегали бабы, на огороде кто-то выл.

— Скорей!

Шел Хлебииков, держа в руке грязную галошу, и пророчески, громко говорил:

— Живущие беззаконно так же и умрут!

— Да будет тебе, Иван Лукич! — заорал дьякон.— Кешин-то повесился...

Какая-то баба охиула, и стало тихо. Хлебииков остаиовился среди двора, уроиил галошу, потом подошел к дьякону и строго сказал:

— А ты, зверь, меня оклеветал вслух, при всех! Меня!

Не заглянув в сеии, он сел на крыльцо рядом с дьяконом, успокоительно говоря:

— Сейчас полиция придет!

Но, высморкавшись, добавил с грустью и благочестиво:

— О господи, вскую оставил нас еси?

Потом спросил, косясь в темную дыру сеией:

— На поясе удавнлся, на шелковом?

Дьякон пробормотал:

— Отстаиь, Христа ради...

«СТРАСТИ-МОРДАСТИ»

Душиой летней ночью, в глухом переулке окраины города, я увидал страиную картину: женщина, забравшись в середину обширной лужи, топала ногами, разбрызгивая грязь, как это делают ребятишки,— топала и гнусаво пела скверненькую песню, в которой имя Фомка рифмовало со словом ёмкая.

Днем над городом могуче прошла гроза, обильный дождь размочил грязную, глинистую землю переулка; лужа была глубокая, ноги женщины уходили в нее почти по колено. Судя по голосу, певица была пьяная. Если б оиа, устав плясать, упала, то легко могла бы захлебнуться жидкой грязью.

Я подтянул повыше голеиища сапог, влез в лужу, взял плясуиью за руки и потащил на сухое место. В первую минуту оиа, видимо, испугалась,— пошла за мною молча и покорио, но потом сильным движеиием всего тела вырвала правую руку, ударила меия в грудь и заорала:

— Караул!

И снова решительио полезла в лужу, увлекая меия за собой.

— Дьявол,— бормотала она.— Не пойду! Проживу без тебя... поживи без меня... краул!

Из тьмы вылез ночной сторож, остаиовился в пяти шагах от иас и спросил сердито:

— Кто скаидалит?

Я сказал ему, что — боюсь, ие утонула бы жеищииа в грязи, и вот — хочу вытащить ее; сторож присмотрелся к пьяиой, громко отхаркиул и приказал:

— Машка — вылазь!

— Не хочу.

— А я те говорю — вылазь!

— А я ие вылезу.

— Вздую, подлая,— не сердясь, пообещал сторож и добродушно, словоохотливо обратился ко мне: — Это — здешияя, паклюжница, Фролиха, Машка. Папироски нету?

Закурили. Женщина храбро шагала по луже, вскрикивая:

— Начальники! Я сама себе начальиица... Захочу — купаться буду...

— Я те покупаюсь,— предупредил ее сторож, бородатый, крепкий старик.— Эдак-то вот она каждую ночь, почитай, скаидалит. А дома у ней — сыи безиогой...

— Далеко живет?..

— Убить ее иадо,— сказал сторож, не ответив мие.

— Отвести бы ее домой,— предложил я.

Сторож фыркиул в бороду, осветил мое лицо огнем папиросы и пошел прочь, тяжко топая сапогами по липкой земле.

— Веди! Только допрежде в рожу загляиию ей.

А женщииа села в грязь и, разгребая ее руками, завизжала гнусаво и дико:

— Как по-о мор-рю...

Недалеко от нее в грязиой жириой воде отражалась какая-то большая звезда из чериой пустоты иад иами. Когда лужа покрылась рябью — отражеиие

нсчезло. Я снова влез в лужу, взял певнцу под мышки, прнподнял н, толкая коленямн, вывел ее к забору; она упнралась, размахивала руками и вызывала меня:

— Ну — бей, бей! Ннчего,— бей... Ах ты зверь... ах ты нрод... ну — бей!

Прнставнв ее к забору, я спроснл — где она жнвет. Она прнподняла пьяную голову, глядя на меня темнымн пятнами глаз, н я увндал, что переносье у нее провалнлось, остаток носа торчнт, пуговкой, вверх, верхняя губа, подтянутая шрамом, обнажает мелкне зубы, ее маленькое пухлое лнцо улыбается отталкнвающей улыбкой.

— Ладно, ндем,— сказала она.

Пошлн, толкая забор. Мокрый подол юбкн хлестал меня по ногам.

— Идем, мнлый,— ворчала она, как будто трезвея.— Я тебя прнму... Я те дам утешеньнце...

Она прнвела меня на двор большого, двухэтажного дома; осторожно, как слепая, прошла между телег, бочек, ящнков, рассыпанных поленннц дров, остановнлась перед какой-то дырой в фундаменте н предложнла мне:

— Лезь.

Прндержнваясь лнпкой стены, обняв женщину за талню, едва удержнвая расползавшееся тело ее, я спустнлся по скользкнм ступеням, нащупал войлок н скобу дверн, отворнл ее н встал на пороге черной ямы, не решаясь ступнть дальше.

— Мамка,— ты? — спросил во тьме тнхнй голос.

— Я-а...

Запах теплой гнплн н чего-то смолнстого тяжело ударнл в голову. Вспыхнула спнчка, маленький огонек на секунду осветнл бледное детское лнцо н погас.

— А кто же прндет к тебе? Я-а,— говорнла женщнна, навалнваясь на меня.

Снова вспыхнула спнчка, зазвенело стекло, н тонкая, смешная рука зажгла маленькую жестяную лампу.

— Утешеньншко мое,— сказала женщнна н, покачнувшнсь, опрокннулась в угол,— там, едва возвышаясь над кнрпичом пола, была прнготовлена шнрокая постель.

Следя за огнем лампы, ребенок прнкручивал фитнль, когда он, разгораясь, начнпал коптить. Лнчнко у него было серьезное, остроносое, с пухлымн, точно у девочкн, губамн,— лнчнко, напнсанное тонкой кнстью н поражающе неуместное в этой темной, сырой яме. Справнвшнсь с огнем, он взглянул на меня какимн-то мохнатымн глазамн н спроснл:

— Пьяная?

Мать его, лежа поперек постелн, всхлнпывала н храпела.

— Ее надо раздеть,— сказал я.

— Так раздевай,— отозвался мальчнк, опустнв глаза.

А когда я начал стаскнвать с женщнны мокрые юбкн — он спроснл тнхо н деловнто:

— Огонь-то — погаснть?

— Зачем же!

Он промолчал. Возясь с его матерью, как с мешком мукн, я наблюдал за ннм: он сидел на полу, под окном, в ящнке нз толстых досок с черной — печатнымн буквамн — надпнсью:

ОСТОРОЖНО
Т-во Н. Р. и К°

Подоконник квадратного окна был на уровне плеча мальчика. По стене в несколько лнннй тянулись узенькне полочкн, на ннх лежалн стопкн папнросных н спнчечных коробок. Рядом с ящнком, в котором сндел мальчуган, помещался еще ящнк, накрытый желтой соломенной бумагой н, вндимо, служнвший столом. Закннув смешные н жалкие рукн за шею, мальчнк смотрел вверх в темные стекла окна.

Раздев женщнну, я броснл ее мокрое платье на печь, вымыл руки в углу, нз глнняного рукомойника, н, вытнрая нх платком, сказал ребенку:

— Ну, прощай!

Он поглядел на меня н спроснл немножко шепеляво:

— Теперь — гаснть лампу?

— Как хочешь.

— А ты — уходншь, не ляжешь?

Он протянул ручонку, указывая на мать:

— С ней.

— Зачем? — спроснл я глупо н удивленно.

— Сам знаешь,— сказал он страшно просто н, потянувшнсь, прибавнл:

— Все ложатся.

Сконфуженный, я оглянулся: вправо от меня — чело уродливой печки, на шестке — грязная посуда, в углу — за ящиком — куски смоленого каната, куча нащнпаниой паклн, поленья дров, щепкн н коромысло.

У монх ног вытянулось н храпнт желтое тело.

— Можно посндеть с тобой? — спроснл я мальчнка.

Он, глядя на меня нсподлобья, ответнл:

— Она ведь до утра уж не проснется.

— Да мне ее не надо.

Прнсев на корточки к его ящнку, я рассказал, как встретнл мать, стараясь говорнть шутлнво:

— Села в грязь, гребет руками, как весламн, и поет...

Он кнвнул головою, улыбаясь бледненькой улыбкой, почесывая узенькую грудь.

— Пьяная потому что. Она н тверезая любнт баловаться. Как маленькая все равно...

Теперь я рассмотрел его глаза,— они действительно мохнаты, ресницы нх удивнтельно длнины, да н на веках густо рослн волоснкн, красиво нзогнутые. Синеватые тени лежалн под глазами, усилнвая бледность бескровной кожи, высокнй лоб, с морщинкой над переносьем, покрывала растрепанная шапка курчавых, рыжеватых волос. Неописуемо выражение его глаз — внимательных и спокойных,— я с трудом выноснл этот странный, нечеловечий взгляд.

— У тебя — что с ногами-то?

Он завознлся, высвободнл нз тряпья сухую ногу, похожую на кочережку, приподнял ее рукою н положил на край ящика.

— Вот какие ногн. Обе такне, сроду. Не ходят, не жнвут, а — так себе...

— А что это в коробочках?

— Звернльница,— ответнл он, взял ногу рукою, точно палку, сунул ее в тряпкн на дно ящика и ясно, дружески улыбаясь, предложнл:

— Хошь — покажу? Ну, так саднсь хорошенько. Ты эдакого еще н не видал ннкогда.

Ловко действуя тонкими, непомерно длнннымн руками, он прнподнялся на полкорпуса н стал снимать коробки с полок, подавая мне одну за другой.

— Гляди,— не открывай, а то — убегут! Прнслони к уху, послушай. Что?

— Шевелится кто-то...

— Ага! Это — паучишка там сидит, подлец! Его зовут — Барабанщик. Хитрый!..

Чудесные глаза ласково оживились, на синеньком личике играла улыбка. Быстро действуя ловкими руками, он снимал коробки с полок, прикладывал их к своему уху, потом — к моему и оживленно рассказывал:

— А тут — таракашка Анисим, хвастун, вроде солдата. Это — муха, Чиновница, сволочь, каких больше нет. Целый день жужжит, всех ругает, мамку даже за волосы таскала. Не муха, а — чиновница, которая на улицу окнами живет, муха только похожая. А это — черный таракан, большущий,— Хозяин; он — ничего, только пьяница и бесстыдник. Напьется и ползает по двору, голый, мохнатый, как черная собака. Здесь — жук, дядя Никодим, я его на дворе сцапал, он — странник, из жуликов которые; будто на церковь собирает; мамка зовет его — Дешевый; он тоже любовник ей. У нее любовников — сколько хочешь, как мух, даром что безносая.

— Она тебя не бьет?

— Она-то? Вот еще! Она без меня жить не может. Она ведь добрая, только пьяница, ну,— на нашей улице — все пьяницы. Она — красивая, веселая тоже... Очень пьяница, курва! Я ей говорю: «Перестань, дурочка, водку эту глохтить, богатая будешь»,— а она хохочет. Баба, ну и — глупая! А она — хорошая, вот проспится — увидишь.

Он обаятельно улыбался такой чарующей улыбкой, что хотелось зареветь, закричать на весь город от невыносимой, жгучей жалости к нему. Его красивая головка покачивалась на тонкой шее, точно странный какой-то цветок, а глаза все более разгорались оживлением, притягивая меня с необоримою силой.

Слушая его детскую, но страшную болтовню, я на минуту забывал, где сижу, и вдруг снова видел тюремное окно, маленькое, забрызганное снаружи грязью, черное жерло печи, кучу пакли в углу, а у двери, на тряпье, желтое, как масло, тело женщины-матери.

— Хорошая зверильница? — спросил мальчик с гордостью.

— Очень.

— Бабочков нету вот у меня,— бабочков и мотыльков!

— Тебя как зовут?

— Ленька.

— Тезка мне.

— Ну? А ты — какой человек?

— Так себе. Никакой.

— Ну уж врешь! Всякий человек — какой-нибудь, я ведь знаю. Ты — добрый.

— Может быть.

— Уж я вижу! Ты — робкий, тоже.

— Почему — робкий?

— Уж я знаю!

Он улыбнулся хитрой улыбкой и даже подмигнул мне.

— А почему все-таки робкий?

— Вот — сидишь со мной, значит — боишься ночью-то идти!

— Да ведь уж — светает.

— Ну, и уйдешь.

— Я опять приду к тебе.

Он не поверил, прикрыл милые, мохнатые глаза ресницами и, помолчав, спросил:

— Зачем?

— Посидеть с тобой. Ты очень интересный. Можно прийти?

— Валяй! К нам все ходят...

Вздохнув, он сказал:

— Обманешь.

— Ей-богу — приду!

— Тогда — приходи. Ты уж — ко мне, а не к мамке, ну ее к ляду! Ты — давай дружиться со мной,— ладно?

— Ладно.

— Ну вот. Ничего, что ты большой; тебе — сколько годов?

— Двадцать первый.

— А мне — двенадцатый. У меня — нету товарищей, одна Катька водовозова, так ее водовозиха бьет за то, что она ко мне ходит... Ты — вор?

— Нет. Почему — вор?

— У тебя очень рожа страшная, худущая, с таким носом, как у воров. У нас два вора бывают, один — Сашка, дурак и злой, а другой — Ванечка, так этот добрый, как собака. А у тебя коробочки есть?

— Принесу.

— Принеси! Я мамке не скажу, что ты придешь...

— Почему?

— Так. Она всегда радуется, когда мужчины в другой раз приходят. Вот,— любит мужчинов, шкуреха,— просто беда! Она — смешная девчонка, мамка у меня. Пятнадцати лет ухитрилась — родила меня и сама не знает — как! Ты — когда придешь?

— Завтра вечером.

— Вечером она уж напьется. А ты чего делаешь, если не воруешь?

— Баварским квасом торгую.

— Ой ли? Принеси бутылку, а?

— Конечно — принесу! Ну, я пошел.

— Валяй. Придешь?

— Обязательно.

Он протянул мне обе длинные руки, я тоже обеими руками сжал и потряс эти тонкие, холодные косточки и, уже не оглядываясь на него, вылез на двор, точно пьяный.

Светало; над сырой кучей полуразвалившихся построек трепетала, угасая, Венера. Из грязной ямы под стеною дома смотрели на меня квадратными глазами стекла подвального окна, мутные и грязные, как глаза пьяницы. В телеге у ворот спал, широко раскинув огромные босые ноги, красномордый мужик, торчала в небо густая, жесткая борода — в ней светились белые зубы,— казалось, что мужик, закрыв глаза, ядовито, убийственно смеется. Подошла ко мне старая собака, с плешью на спине, видимо, ошпаренная кипятком, понюхала ногу мою и тихонько, голодно провыла, наполнив сердце мое ненужной жалостью к ней.

На улицах, в лужах, устоявшихся за ночь, отражалось утреннее небо — голубое и розовое,— эти отражения придавали грязным лужам обидную, лишнюю, развращающую душу красоту.

На другой день я попросил ребятишек моей улицы наловить жуков, бабочек, купил в аптеке красивых коробочек и отправился к Леньке, захватив с собою две бутылки квасу, пряников, конфет и сдобных булок.

Ленька принял мои дары с великим изумлением, широко открыв милые глаза,— при дневном свете они были еще чудесней.

— У-ю-юй,— заговорил он низким, не ребячьим голосом,— сколько ты всего притащил! Ты, что ли, богатый? Как же это,— богатый, а плохо одетый и, говоришь,— не вор? Вот так коробочки! Уюй,— даже жалко тронуть, руки у меня немытые. Там — кто? Юх,— жучишка-то! Как медный, даже зеленый, ох ты, черт... А — выбегут да улетят? Ну уж...

И вдруг весело крикнул:

— Мамк! Слезь, вымой руки мне,— ты погляди, курятина, чего он принес! Это — он самый, вчерашний, ночной-то, который приволок тебя, как будочник,— это он все! Его тоже Ленька зовут...

— Спасибо надо сказать ему,— услышал я сзади себя негромкий, странный голос.

Мальчик часто закивал головой:

— Спасибо, спасибо!

В подвале колебалось густое облако какой-то волосатой пыли, сквозь него я с трудом разглядел на печи встрепанную голову, обезображенное лицо женщины, блеск ее зубов,— невольную, нестираемую улыбку.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте,— повторила женщина; ее гнусавый голос звучал негромко, но — бодро, почти весело. Смотрела она на меня прищурясь и как будто насмешливо.

Ленька, забыв про меня, жевал пряник, мычал, осторожно открывая коробки,— ресницы бросали тень на щеки его, увеличивая синеву под глазами. В грязные стекла окна смотрело солнце, тусклое, как лицо старика, на рыжеватые волосы мальчика падал мягкий свет, рубашка на груди Леньки расстегнута, и я видел, как за тонкими косточками бьется сердце, приподнимая кожу и едва намеченный сосок.

Его мать слезла с печи, намочила под рукомойником полотенце и, подойдя к Леньке, взяла его левую руку.

— Убег, стой,— убег! — закричал он и весь, всем телом, завертелся в ящике, разбрасывая пахучее тряпье под собой, обнажая синие, неподвижные ноги. Женщина засмеялась, шевыряясь в тряпках, и тоже кричала:

— Лови его!

А поймав жука, положила его на ладонь своей руки, осмотрела бойкими глазами василькового цвета и сказала мне тоном старой знакомой:

— Эдаких — много!

— Не задави,— строго предупредил ее сын.— Она, раз, пьяная села на зверильницу-то мою, так столько подавила!

— А ты забудь про то, утешеньице мое.

— Уж я хоронил-хоронил...

— Я же тебе сама и наловила их после.

— Наловила! Те были — ученые, которых задавила ты, дурочка из переулочка! Я их, которые издохнут, в подпечке хороню, выползу и хороню, там у меня кладбище... Знаешь, был у меня паук, Минка, совсем как мамкин любовник один, прежний, который в тюрьме, толстенький, веселый...

— Ах ты, утешенышко мое милое,— сказала женщина, поглаживая кудри сына темной, маленькой рукою с тупыми пальцами. Потом, толкнув меня локтем, спросила, улыбаясь глазами:

— Хорош сынок? Глазки-то, а?

— Ты возьми один глаз, а ноги — отдай,— предложил Ленька, ухмыляясь и разглядывая жука.— Какой... железный! Толстый. Мам, он — на монаха похожий, на того, которому ты лестницу вязала,— помнишь?

— Ну как же!

И, посмеиваясь, она стала рассказывать мне:

— Это, видишь, ввалился однова к нам монашище, большущий такой, да и спрашивает: «Можешь ты, паклюжница, связать мне лестницу из веревок?» А я — сроду не слыхала про такие лестницы. «Нет, говорю, не смогу я!» — «Так я, говорит, тебя научу». Распахнул рясу-то, а у него все брюхо веревкой нетолстой окручено,— длинная веревища да крепкая! Научил. Вяжу я, вяжу, а сама думаю: «На что это ему? Не церкву ли ограбить собрался?»

Она засмеялась, обняв сына за плечи и все поглаживая его.

— Ой, затейник! Пришел он в срок, я и говорю: «Скажи, ежели это тебе для воровства, так я не согласна!» А он смеется хитровато таково: «Нет, говорит, это — через стену перелезать; у нас стена большая, высокая, а мы люди грешные, а грех-от за стеной живет,— поняла ли?» Ну, я поняла: это ему, чтобы по ночам к бабам лазить. Хохотали мы с ним, хохотали...

— Уж ты у меня хохотать любишь,— сказал мальчик тоном старшего.— А вот самовар бы поставила...

— Так сахару же нету у нас.

— Купи поди...

— Да и денег нету.

— Уй, ты, пропивашка! У него возьми вот...

Он обратился ко мне:

— У тебя есть деньги?

Я дал женщине денег, она живо вскочила на ноги, сняла с печи маленький самовар, измятый, чумазый, и скрылась за дверью, напевая в нос.

— Мамка! — крикнул сын вслед ей.— Вымой окошко, ничего не видать мне! — Ловкая бабенка, я тебе скажу! — продолжал он, аккуратно расставляя по полочкам коробки с насекомыми,— полочки, из картона, были привешены на бечевках ко гвоздям, вбитым между кирпичами в пазы сырой стены.— Работница... как начнет паклю щипать,— хоть задохнись, такую пылищу пустит! Я кричу: «Мамка, да вынеси ты меня на двор, задохнусь я тут!» А она: «Потерпи, говорит, а то мне без тебя скучно будет». Любит она меня, да и всё! Щиплет и поет, песен она знает тыщу!

Оживленный, красиво сверкая дивными глазами, приподняв густые брови, он запел хриплым альтовым голосом:

Вот Орина на перине лежит...

Послушав немножко, я сказал:

— Очень похабная песня.

— Они все такие,— уверенно объяснил Ленька и вдруг встрепенулся.— Чу, музыка пришла! Ну-ко, скорее, подними-ко меня...

Я поднял его легкие косточки, заключенные в мешок серой, тонкой кожи, он жадно сунул голову в открытое окно и замер, а его сухие ноги бессильно покачивались, шаркая по стене. На дворе раздраженно визжала шарманка, выбрасывая лохмотья какой-то мелодии, радостно кричал басовитый ребенок, подвывала собака,— Ленька слушал эту музыку и тихонько сквозь зубы ныл, прилаживаясь к ней.

Пыль в подвале осела, стало светлее. Над постелью его матери висели рублевые часы, по серой

стене, прихрамывая, ползал маятник величиною с медный пятак. Посуда на шестке стояла немытой, на всем лежал толстый слой пыли, особенно много было ее в углах на паутине, висевшей грязными тряпками. Ленькино жилище напоминало мусорную яму, и превосходные уродства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезли в глаза с каждого аршина этой ямы.

Мрачно загудел самовар, шарманка, точно испугавшись его, вдруг замолчала, чей-то хриплый голос прорычал:

— Р-рвань!

— Сними,— сказал Ленька, вздыхая,— прогнали...

Я посадил его в ящик, а он, морщась и потирая грудь руками, осторожно покашлял:

— Болит грудишка у меня, долго дышать настоящим воздухом нехорошо мне. Слушай,— ты чертей видал?

— Нет.

— И я тоже. Я, ночью, все в подпечек гляжу — не покажутся ли? Не показываются. Ведь черти на кладбищах водятся, верно?

— А на что тебе их?

— Интересно. Вдруг один черт — добрый? Водовозова Катька видела чертика в погребе,— испугалась. А я страшного не боюсь.

Закутав ноги тряпьем, он продолжал бойко:

— Я люблю даже — страшные сны люблю, вот. Раз видел дерево, так оно вверх корнями росло,— листья-то по земле, а корни в небо вытянулись. Так я даже вспотел весь и проснулся со страху. А то — мамку видел: лежит голая, а собака живот выедает ей, выкусит кусочек и выплюнет, выкусит и выплюнет. А то — дом наш вдруг встряхнулся, да и поехал по улице, едет и дверями хлопает и окнами, а за ним чиновницына кошка бежит...

Он зябко повел остренькими плечиками, взял конфетку, развернул цветную бумажку и, аккуратно расправив ее, положил на подоконник.

— Я из этих бумажек наделаю разного, чего-нибудь хорошего. А то — Катьке подарю. Она тоже любит хорошее: стеклышки, черепочки, бумажки и все. А — слушай-ка: если таракана все кормить да кормить, так он вырастет с лошадь?

Было ясно, что он верит в это; я ответил:

— Если хорошо кормить — вырастет!

— Ну да! — радостно вскричал он.— А мамка дурочка, смеется!

И он прибавил зазорное слово, оскорбительное для женщины.

— Глупая она! Кошку так уж совсем скоро можно раскормить до лошади — верно?

— А что ж? Можно!

— Эх, корму нету у меня! Вот бы ловко!

Он даже затрясся весь от напряжения, крепко прижав рукой грудь.

— Мухи бы летали по собаке величиной! А на тараканах можно бы кирпич возить,— если он — с лошадь, так он сильный! Верно?

— Только вот усы у них...

— Усы не помешают, они — как вожжи будут, усы! Или — паук ползет — агромадный, как — кто? Паук — не боле котенка, а то — страшно! Нет у меня ног, а то бы! Я бы работал бы и всю свою зверильницу раскормил. Торговал бы, после купил бы мамке дом в чистом поле. Ты в чистом поле бывал?

— Бывал, как же!

— Расскажи, какое оно, а?

Я начал рассказывать ему о полях, лугах, он слушал внимательно, не перебивая, ресницы его опускались на глаза, а ротишко открывался медленно, как будто мальчик засыпал. Видя это, я стал говорить тише, но явилась мать с кипящим самоваром в руках, под мышкой у нее торчал бумажный мешок, из-за пазухи — бутылка водки

— Вот она — я!

— Ло-овко,— вздохнул мальчик, широко раскрыв глаза. Ничего нет, только трава да цветы. Мамка, ты бы вот нашла тележку да свезла меня в чистое поле! А то — издохну и не увижу никогда. Шкура ты, мамка, право! — обиженно и грустно закончил он.

Мать ласково посоветовала ему:

— А ты — не ругайся, не надо! Ты еще маленький...

— «Не ругайся»! Тебе — хорошо, ходишь куда хошь, как собака все равно. Ты — счастливая... Слушай-ка,— обратился он ко мне,— это бог сделал поле?

— Наверное.

— А зачем?

— Чтобы гулять людям.

— Чистое поле! — сказал мальчик, задумчиво улыбаясь, вздыхая.— Я бы взял туда зверильницу и всех выпустил их,— гуляй, домашние! А — слушай-ка! — бога делают где — в богадельне?

Его мать взвизгнула и буквально покатилась со смеха,— опрокинулась на постель, дрыгая ногами, вскрикивая:

— О,— чтоб те... о господи! Утешеньишко ты мое! Да, чай, бога-то — богомазы... ой, смехота моя, чудашка...

Ленька с улыбкой поглядел на нее и ласково, но грязно выругался.

— Корячится, точно маленькая! Любит же хохотать.

И снова повторил ругательство.

— Пускай смеется,— сказал я,— это тебе не обидно!

— Нет, не обидно,— согласился Ленька.— Я на нее сержусь, только когда она окошко не моет; прошу, прошу: «Вымой же окошко, я света божьего не вижу», а она все забывает...

Женщина, посмеиваясь, мыла чайную посуду, подмигивала мне голубым светлым глазом и говорила:

— Хорошо утешеньице у меня? Кабы не он — утопилась бы давно, ей-богу! Удавилась бы...

Она говорила это улыбаясь.

А Ленька вдруг спросил меня:

— Ты — дурак?

— Не знаю. А что.

— Мамка говорит — дурак!

— Так ведь я — почему? — воскликнула женщина, нимало не смущаясь.— Привел с улицы пьяную бабу, уложил ее спать, а — сам ушел, нате-ко! Я ведь не во зло сказала. А ты уж сейчас ябедничать, у — какой...

Она говорила тоже, как ребенок, строй ее речи напоминал девочку-подростка. Да и глаза у нее были детски чистые,— тем безобразнее казалось безносое лицо, с приподнятой губой и обнаженными зубами. Какая-то ходячая, кошмарная насмешка, и — веселая насмешка.

— Ну, давайте чай пить,— предложила она торжественно.

Самовар стоял на ящике рядом с Ленькой, озорниковатая струйка пара, выбиваясь из-под измятой

крышкн, касалась его плеча. Он подставлял под нее ручонку и, когда ладонь увлажнялась паром,— мечтательио щурясь, вытирал ее о волосы.

— Выросту большой,— говорнл ои,— сделает мамка тележку мне, буду по улнцам ползать, милостнику проснть. Напрошу и выползу в чнстое поле.

— Охо-хо,— вздохиула мать н тотчас тнхоиько засмеялась.— Раем вндит поле-то, милый! А там — лагеря, да охальинки солдаты, да пьяные мужнкн.

— Врешь,— остановнл ее Леиька, иахмурясь.— Спросн-ка его, какое оно, ои вндел.

— А я — не вндала?

— Пьяная-то!

Онн началн спорнть, совсем как дети, так же горячо н иелогнчно, а иа двор уже пришел теплый вечер, в покрасневшем небе неподвнжно стояло густое снзое облако. В подвале стаиовилось темно.

Мальчнк выпнл кружку чая, вспотел, взглянул на меня, на мать н сказал:

— Наелся, напнлся,— даже спать захотелось, ей-богу...

— И усин,— посоветовала мать.

— А он — уйдет! Ты уйдешь?

— Не бойсь, я его не пущу,— сказала женщнна, толкнув меня коленом.

— Не уходн,— попросил Ленька, прнкрыл глаза н, сладко потянувшись, свалился в ящнк. Потом вдруг прнподиял голову и с упреком сказал матери:

— Ты бы вот выходнла за иего замуж, веичалась бы, как другне бабы,— а то валандаешься зря со всякнм... только бьют... А ои — добрый...

— Спн знай,— тнхо сказала женщниа, иаклонясь над блюдцем чая.

— Он — богатый...

С мнnуту женщнна сидела молча, схлебывая чай с блюдечка неловкими губами, потом сказала мие, как старому знакомому:

— Так вот мы н жнвем тихонько, я да он, а боле ннкого. Ругают меня иа дворе — распутная! А — что ж? Мне стыдиться некого. К этому же — видите, как я снаружн нспорчена. Всякому сразу вндио, для чего я гожусь. Да. Уснул сынок, утешеньншко мое. Хорошее дитя у меия?

— Да. Очень!

— Не иалюбуюсь. Умнница ведь?

— Мудрец.

— То-то! Отец у него — барни был, старнчок; этот — как их зовут? Конторы у них,— ах ты! Бумагн пншут?

— Нотарнус?

— Вот, ои самый! Мнлый был старнчок... Ласковый. Любнл меня, я горннчиой у иего жнла.

Она прикрыла тряпьем голые ножки сына, поправила под его головой темное изголовье н снова заговорнла, легко так:

— Вдруг — помер. Ночью было, я только ушла от него, а он ка-ак грохнется иа пол,— только н жнтья! Вы — квасом торгуете?

— Квасом.

— От себя?

— От хозяина.

Она подвииулась поближе ко мне, говоря:

— Вы мною, молодой человек, не брезгуйте, теперь уж я не заразная, спросите кого хотнте в улнце, все знают!

— Я не брезгую.

Положнв на колено мне маленькую руку со стертой кожей на пальцах н обломанными ногтямн, она продолжала ласково:

— Очень я благодарна вам за Леньку, празднnк ему сегодня. Хорошо это сделалн вы...

— Надобно мне ндтн,— сказал я.

— Куда? — уднвленно спроснла она.

— Дело есть.

— Останьтесь!

— Не могу...

Она посмотрела на сына, потом в окно, на небо, н сказала негромко:

— А то — останьтесь. Я рожу-то платком прнкрою... Хочется мне за сына поблагодарнть вас... Я — закроюсь, а?

Она говорила неотразнмо по-человечьн,— так ласково, с такнм хорошнм чувством. И глаза ее — детскне глаза на безобразном лнце — улыбалнсь улыбкой не ннщей, а человека богатого, которому есть чем поблагодарнть.

— Мамка,— вдруг крнкнул мальчнк, вздрогнув н прнподнявшнсь,— ползут! Мамка же... ндн-н...

— Прнсннлось,— сказала мне она, наклонясь иад сыном.

Я вышел на двор н в раздумье остаиовнлся,— нз открытого окна подвала гнусаво н весело лнлась на двор песня, мать баюкала сына, четко выговарнвая странные слова:

Придут Страсти-Мордасти,
Приведут с собой Напасти;
Приведут они Напасти,
Изорвут сердце на части!
Ой беда, ой беда!
Куда спрячемся, куда?

Я быстро пошел со двора, скрнпя зубамн, чтобы не зареветь.

НА ЧАНГУЛЕ

...Степь раскалена солнцем, как огромная сковорода, посреднне этой рыжей сковороды жарюсь я, несчастный ерш.

Выскакнвают нз нор сусликн н, стоя иа задннх лапках, чнстят переднnми свои хитрые мордочкн, тонко пересвнстываясь друг с другом. В них есть что-то общее с монастырскнми послушннкамн.

По солончаку ползают заботлнвые букашкн, трещат кузнечикн н прыгают пред лнцом монм маленькнмн, серымн сучкамн.

В пустом сннем иебе, иемного правее н чуть-чуть понння солнца, распластался коршун, такой же однноккий, как я на земле. Больше нет ннчего жнвого нн в знойной высоте, нн на рыжем круге горячей землн, вндимой мне; эту землю — бесплодную, нссохшую, как старая дева,— простые людн зовут «Днкое поле», ученые — «Малая Тартарня».

Унылая земля...

Я прнжался голой грудью к прохладному инею солончака; земля нсточает прямо в сердце мне ост-

рую, жгучую тоску, но это не та тоска, которая, разъедая душу ржавчиной желаний, неясных и больных, убивает ее, это — давняя моя подруга и законная дочь моей веры в силу жизни.

Я — человек лет двадцати двух, но уже успевший испить из огромной чаши жизни множество ядовитой горечи,— это приучило меня рассуждать больше, чем следует.

Моя тоска, должно быть, то самое, что именуют душою человека, это — существо, живущее в моей груди, оно всегда с неустанной силой толкает меня куда-то вперед, все дальше, неугасимо разжигая сердце огнем желаний лучшего, мучая надеждой на сказочное счастье, взятое с боя.

Кроме этой тоски — со мной моя жадная юность; издыхая от голода, одиночества, она готова все принять, всех любить; она любит смеяться надо всем — и над моей незрелой мудростью. Моя юность — самая милая и опасная половина существа моего, ибо — слишком ненасытная — она недостаточно брезглива и, как молодой козленок, плохо отличает жгучую крапиву от вкусных, душистых трав.

Это, неясно показанное, раздвоение личности переживалось мною весьма мучительно и нередко заставляло меня создавать драмы там, где можно бы ограничиться веселой игрой в легкой комедии.

Впрочем,— все это мало интересно и едва ли относится к истории, которую я хочу рассказать вам, единственному человеку, с которым — заочно — я умею говорить так же легко и просто, как беседую с самим собою в минуты грусти.

Так вот,— я лежу в «Диком поле» и, положив подбородок на кулаки, смотрю вдаль, к югу, где струится марево; в его прозрачном серебре качаются, маячат какие-то окаянные, серые былинки,— такою же окаянной былинкой и я чувствую себя в окружении жаркой пустоты под синим небом, в сухом зное степного солнца. Там, на юге, где колышется над пустою землей серебряная кисея марева, верст за пять от меня, лениво течет речка Чангул, по берегу ее стройно вытянулись белые хаты валахов, версты на две ниже их, у крутого изгиба реки, приютилась мельница, какая бывает только в сказках.

Я прожил на этой мельнице несколько часов, меня выгнали оттуда, и уже четвертые сутки я кружусь около нее, вспоминая пережитое, как скупец вспоминает о кошеле золота, отнятом у него.

Я наткнулся на эту мельницу неожиданно, поздно вечером; уже солнце опустилось за край степи, и с востока быстро шла душная ночь юга, но в темной воде Чангула еще отражался пожар вечерней зари, камышовая крыша мельницы блестела, как парча, в степь, навстречу мне, сердито смотрели красные глаза двух окон.

С восхода солнца по закат я прошел «Диким полем» верст сорок и не видел ничего живого, кроме бесчисленных сусликов, стаи голенастых дрохв, убежавших от меня, да белого луня, который обедал, сидя на камне, высунувшемся из земли, расклевывая головку суслика.

Целый день в небе — солнце, а на земле — только я; под раскаленным почти добела куполом небес — необоримая тишина пустоты; запоешь песню, звуки ее испаряются, как роса, а эха — нет.

Пустота, обладая способностью высасывать из человека мысли и чувства, делает его подобным себе,— несомненно, что именно это ее свойство всегда привлекало и привлекает людей, стремившихся опустошить свое сердце, свой разум — достигнуть святости путем убийства своей души.

Я тоже был глуп, как пустынник, и голоден, как зимний волк, когда увидал мельницу, ласково раскрашенную вечерней зарей, красиво приподнятую над лиловатой водою реки на трех больших камнях. Она не работала, заснув в духоте вечера, но был слышен тонкий звон падения тяжелых капель, и, точно сказку рассказывая, тепло журчала под колесом вода Чангула.

Две овчарки молча выкатились со двора под ноги мне; высокий, сутулый человек чесал спину о верею, равнодушно поглядывая, как я отбиваюсь палкой от собак, похожих на медведей; я крикнул, чтоб он отозвал их,— человек сунул в рот два пальца и пронзительно засвистал.

Собаки подбежали к нему, встряхивая побитыми башками, он строго спросил меня:

— Зачем бьете?

— А если б они разорвали меня?

— Н-ну... великое горе!

— Вы — хозяин?

— Зачем? Я — работник.

— Ночевать у вас можно?

— Хорошему человеку — можно.

У меня имелись некоторые основания считать себя хорошим человеком — я был беден, не глуп и умел работать.

Я снял с плеч котомку, но человек строго предупредил меня:

— Погоди, спрошу...

И ушел, оставив меня при собаках, а они снова начали угрожающе рычать, оскаливая волчьи зубы, захлебываясь жирной злобой. Им вторил угрюмый звук струн кобзы, за углом мельницы глухой голос бормотал что-то на неведомом языке. Хотелось взглянуть за угол, но собаки не позволяли.

Красноватая вода реки, густая, точно кровь, медленно текла в темном теле степи; за рекою, точно ожившая земля, двигалась отара овец, заря окрасила их шерсть в рыжий цвет. Над ними верхом на конях качались две черных фигуры.

Кричали чабаны, один — суровым басом, другой — певуче и звонко, как женщина. Далеко в степи, в синем сумраке ночи, крепко обнявшей пустую землю, цвел красным цветом златокудрый огонь. Тихий шум множества копыт, усталое блеяние, звериный крик чабанов и все вокруг — вызывало такое впечатление, как будто я зашел куда-то глубоко в прошлое жизни, к истокам древних сказок.

Душное молчание скудной пустыни втекало в сердце песней без слов, а за углом все скрипели, неприятно и непрерывно, эти сухие струны, безуспешно споря с тишиной. Звук странный, точно кто-то нехотя разрывал шелк разной плотности.

Старая мельница, обожженная солнцем, омытая многими дождями, напоминала пряничный домик сказки, из темной ямы открытого окна вытекал запах горючего хлеба, возбуждая голод.

Со двора вышла маленькая старушка, с лицом в кулачок, в странном наряде, посмотрела на меня, приложив ко лбу ладонь, и шепотом сказала, дважды кивнув головою:

— Мошно, мошно...

Собаки подошли к ней покорно, как и следовало; человек, стоя рядом с нею, служебно изогнулся, она что-то говорила ему по-валашски, гладя рукою мохнатые морды собак. Глаза у нее без белков, темные, как вишни, дряблые щеки опали вниз, маленький

нос загнулся клювом,— все в порядке, настоящая баба-яга.

— Тако,— сказала она, уходя за угол мельницы, а собаки, как привязанные невидимою цепью, пошли рядом с нею, потираясь боками о ноги ее.

— Гэх, гэх,— ворчала она, отталкивая их.

Работник, позевнув, спросил:

— Есть хочешь?

И крикнул во двор:

— Ганна, дай хлеба, молока...

Со двора ответили сердито:

— Сам достань, я легла...

— Ну, ну...

— Кому это?

— Прохожий.

— Черти его принесли!..

— Жена? — спросил я.

— А как же?

Работник, не торопясь, вынул из кармана трубку, кисет, опустился на скамью у крыльца.

— Садись. Издалека?

— Из России. А вы — русский?

— Не, я черниговский...

— Давно здесь?

— Пятое лето.

— Скучно?

— А что же?

— Хозяева — царане?

— Ну да!

— Богатые?

Человек раскурил трубку, сплюнул, поглядел на огонь ее и, прижав его пальцем, тоже спросил:

— Обокрасть хочешь?..

Южная ночь плотно покрыла землю теплой, черной шапкой, в траурном небе вспыхнули синие звезды и серебряным маревом наметился звездный путь.

Тугая тишина вдруг лопнула, и, словно из какой-то светлой щели, брызнул и потек ручей густых звуков — струны кобзы согласно запели странную мелодию, потом все звуки слились в одну низкую, тоскливую ноту, и прежде, чем она иссякла, к ней приник, обнял ее сочный женский голос,— внятно и напряженно он пропел незнакомые слова:

Оэ, Мара, рэабулэ Мара-а...

Инструмент повторил мелодию слов с настойчивой точностью, женщина снова запела, и вновь голос ее подхватили струны и опять слились в одну ноту, бесконечную, как степная дорога.

Так, чередуясь, женщина и кобза разносили песню по гладкому безмолвию ночи, как лунный свет по морю; было в этой песне глухое отчаяние, сжимавшее сердце, было в ней все, чем бедна и богата степная ночь.

Женщина в белом, высокая и босая, неслышно подошла ко мне, поставила на край скамьи кувшин, положила краюху хлеба, спросила меня о чем-то и, тихонько засмеявшись, бесшумно ушла за ворота.

— Ешь,— сказал работник.

— Кто это поет?

— Хозяйка.

— Молодая?

— Ну да. А как же? Внука...

Он постучал трубкой о ноготь, наступил ногою на искры, высыпавшиеся под ноги мне, и спросил:

— Знатно играет?

— Да.

— Она — не в своем уме. Убитый человек.

Наскоро выпив молока, я сунул хлеб за пазуху, предлагая:

— Пойдем за ворота!

— Не-е...

— Пожалуйста!

Я долго упрашивал его, а он все посмеивался, отрицательно кивая головою, но наконец согласился нехотя:

— Ну, что ж...

За углом к стене хаты прислонился невысокий шалаш, покрытый камышом и заплетенный с двух сторон камышовым же плетнем, а третья сторона была открыта на реку и в степь. Посреди шалаша в маленькой тележке сидела пестро одетая женщина; было видно белое пятно ее лица, ленты на груди и голове, густые брови под шапкой встрепанных волос. На коленях у нее лежал инструмент, формой похожий на кобзу, а больше — на отрубленную голову с тонкой шеей. Над его верхней декой, на месте голосника, возвышался деревянный круг, до половины углубленный в кузов, над кругом было натянуто шесть тонких струн, а две басовых касались его с боков. В боку овального кузова торчала ручка, над черным грифом, на полоске поверх его, помещались лады; вращая одною рукою ручку, женщина прижимала лады пальцами другой, и струны, касаясь вращавшегося круга, давали звук кларнета, гнусавый, неяркий.

Женщина сидела неподвижно, напряженно прямо, глаза ее были закрыты, кварта, прижатая к кругу, трепетно дрожала, рождая длительный, негромкий стон; женщина, крепко сжав губы, вторила ему носовым звуком. Это было некрасиво, раздражало.

Передние колеса тележки игрушечно малы, а задние значительно выше,— тележка похожа на кресло. Женщина была окутана пестрыми тряпками, полосатое одеяло, прикрывая ее ноги, спускалось концами на землю, за спиной ее — тугая красная подушка.

Маленькая, темная фигурка старухи сидела у передних колес на бочке, перерезанной поперек, сидела, поставив локти на острые колени свои, подпирая детскую головку темными ладонями, и, точно ожидая кого-то, смотрела в степь. У ног ее лежали собаки. Сзади тележки стояла, пригорюнясь, большая белая Ганна.

Когда я вошел под крышу шалаша, старуха, отняв от лица левую руку, погрозила мне пальцем.

— Стань тут,— сказал работник, толкнув меня плечом к стене хаты.

Я присел на корточки, он прислонился к стене рядом со мною и заворчал, почесывая грудь:

— Это — на всю ночь. Как месяц полный, так она уж не спит, не пьет, не ест...

Женщина в тележке покачнулась, точно кто-то толкнул ее, открыла глаза и, прищурясь, уставила их на меня. Потом она тихонько засмеялась и, сказав несколько слов по-валашски, резко повернула ручку инструмента.

— Ой, матоньки,— вздохнула Ганна.

Старуха забеспокоилась, быстро заговорила с работником, помахивая рукою, он дважды кратко ответил ей, затем строго сказал мне:

— Недовольна, что ты пришел, не уважают они русских, боятся,— так я сказал — татарин ты...

В синей пустоте степи, влево от красной полосы зари, все еще не догоревшей, тяжело поднималась над землей большая, точно колесо, тускло-медная

луиа. Стрекотали кузиечики, храпела собака; в чериой воде Чаигула сверкалн золотые иглы звезд. Издали доиеслось десять ударов чугунного бнла.

— Врет,— сказал работинк, глядя на луну.— Нет еще десятн... Спать хочет и врет...

Женщина смотрела в мою стороиу, ие мигая, точио ослепшая, н вдруг очень громко, так, что все вздрогнули, проговорнла что-то, указав иа меия рукой.

— Выгоняет?

— Подойдн к ней,— приказал работинк, толкнув меия колеиом в плечо.

Я подошел; все так же, не мигнув, оиа ощупала лицо мое большнми темнымн глазами без блеска и выражения, точно у старухн. У нее лнцо было сбориое, из разиых кусков, странио не связаниых между собою: рот — малеиькнй, по-детскн пухлый, а брови — густые, точио усы, горбатый сухой иос н нежиый крупиый подбородок. Волнистые непричесанные волосы тяжелой шапкой спускались иа затылок, иатягивая кожу высокого лба. Ей можно было дать лет тридцать, но, закрыв глаза, оиа стаиовилась моложе.

Смотрела оиа на меня, точно сквозь сои, и все время ее маленькие, нерабочне рукн гладнлн грнф н кузов кобзы, а на левой щеке, около уха, судорожно сокращался какой-то мускул, дергая ноздрю.

Когда она, опустив глаза, тихоиько сказала что-то, работнnк дернул меня за рукав:

— Снди, можио...

Жеищнна поправила ниструмеит н вдруг, иизкнм голосом, очеиь грустио запела, качая головою, медлеиио подыгрывая. Мелодия песни была иеуловнма, как полет ласточки; она так же нервно и слепо металась в тншнне, иеожнданно опускаясь до тихого стона н тотчас взлетая высоко, звоикнм крнком отчаяния, нспуга нлн страсти. Струиы, иапомииая звукамн своими волынку и кларнет, вторили песие виушительио и громко, точно уговарнвая страдающего человека, обнимая жалобы его спокойиым потоком иной печали. Иногда казалось, что они передразииваю т печаль песии.

Это было некрасиво и чуждо мне, но все-таки властно хватало за сердце, возбуждая желаиие убежать в степь...

Я не заметнл, когда ушла Ганна н как муж ее, растянувшись на земле, уснул; старушка покачивалась сухой былинкой, ворчали во сне собаки, а незиакомые, мягкие слова все еще звучалн, догоияя друг друга, н казалось, коица ие будет им.

За рекою, берегом, у самой реки, кто-то шел; вот он закрыл своей чериой головою иизко висевшую луну; иа воду реки,— иа медиый отсвет луны,— легла его теиь; ои остаиовился иа секунду, тоже ответно запел н вдруг исчез.

Женщина перестала играть, точио у нее сразу отиялись рукн, и завопнла диким голосом кликушн, нагибаясь вперед, вытягиваю шею. И старуха, вскочив, закричала плачущнм голосом, обнимая больную, ловя ее руки, летавшие в воздух; зарычали собаки, нюхая воздух. Проснулся работник, побежал в угол шалаша, приеис оттуда ведро воды, ковш и крикиул:

— Гаииа, куда тебя чертн...

Ои оглушительно свистнул, н вдруг суета, печаль и крик — все прекратилось, убнтое свнстом; женщиia тихонько плакала или смеялась, закрыв лицо руками, старушка, оправляя ее кофту, ленты и волосы, бормотала, точио молясь, работиик сказал мне:

— Ничего, спи знай...

Мне показалось, что я давио уже заснул и вижу странный, беспокойиый сои...

— Вот так — всегда,— тнхонько говорнл работник, усаживаясь на землю,— услышит голос н забьется, завопнт, вндио, мерещится ей, будто ои зовет...

— Кто?

— Женнх.

— А где он?

— Помер. Убнлн.

Старуха торопливо сказала что-то,— он почесал иебрнтую скулу.

— Говорит — не уходи! Видио — боится тебя. Зря ты здесь...

Подумав, он сказал, кнвиув головой в угол шалаша:

— Ступай, ложнсь там, на глазах у меня будешь. Ходнте вы, эдакие вон, непрнкаянио... кто вас гоинт?

Он вышел из шалаша, тотчас вернулся с толстой палкой в руках, лег рядом со миою, а палку положнл под ноги себе так, что я в любую секунду мог схватить ее.

Женщина всхлипывала, точио обиженный ребенок, старуха все бормотала иезнакомые слова. Синие воды ночн заливалн степь, чериая фигура старухн шевелилась в темном сумраке, точно большая рыба на дие морском.

— Что же здесь случилось? — спросил я.

— Не здесь, а верстах в двадцатн...— неохотио поправнл меня работнnк.— Ехали они с ярмарки — оиа с женнхом,— да запоздали. А тут — шахтеры кругом. Его «забнли», а над нею — снаснльннчалн и хребет сломалн ей,— ноги-то ее вовсе отнялнсь нз-за этого. Убнтый человек...

Набнвая трубку табаком, он рассказывал о наснлин и убийстве так просто, как говорят о воровстве арбузов с бахчн.

Огоиек спнчкн осветнл на секунду круглое лицо в серой щетиие, соииые, тупо задумавшиеся глазкн, утиный нос.

— Боятся онн теперь, особо — русских, как мышн кошек. Богатым боязно жить. Да и этот, который шахтеров на убнйство подкупнл, тоже русский. Он сам хотел женнться на ней, ну, вот и прндумал. Человек суровый. Засудили его в Сибнрь, а с ннм еще двух. Старуха все ждет,— сбежнт он нз Снбири и прирежет нх. Продает мельницу-то, хотнт за Дунай к себе ехать, в румыиы...

Было непрнятно слушать его полусонные слова. Струиы кобзы сиова запелн, к ним короткнми восклицаииями прнсоедниялся голос жеищнны.

— О чем она поет?

— Разное. До этого случая она сама складывала песин. Тут ее все царане почнтали. Да н теперь... Хоша есть сукнны сыиы,— как давеший,— придут на тот бок реки н затянут, заведут ее любнмые, ну, а оиа — ие терпит этого, ей все мерещнтся, что жених зовет. И сейчас — заклнкает, затрепыхается. А нм — забава. Дразият, значит...

— Вы поинмаете ее песни?

Он усмехнулся.

— А что ж! Я всякую песию по сотие раз слыхал. Известно — девнца, ну, н — поет о своем. Без ума живет, а свое поминт...

Нужно было долго просить его, чтобы он перевел слова песин, он согласился иа это только тогда, когда я обещал подарить ему рубаху.

— Ну, вот,— начал он, прихмурив бровн н вслу-

шиваясь в тнхое теченне печальной мелоднн,— ну, поет она так:

— Боже мой, боже! страшная дорога ночью в степн, а я — снрота, как луна в небе. Будь что будет, устала я ждать счастья, боже мой, господн!.. Сожгут луну зарннцы, а меня тоска сожжет. Боже мой,— лукавая девнца я! Буду счастливой, посею цветы на твоей земле...

Он, вндимо, увлекался: вынул трубку нзо рта, вытянул шею н напряженио мигал, вслушиваясь...

Кто скачет иа белом коие,— ие за миою ли счастье мое?

Над степью — луна, как золотой леток, в снием небе тнхонько кружатся звезды — золотые пчелы, гудят струны, вздыхает иегромкнй, мягкнй голос, и слова работннка самн собою слагаются в странные стнхи:

Темиая дорога иочью среди степи
— Боже мой, о боже! — так страшна!
Я одиа иа свете, сиротой росла я,
Степь и солице зиают — я одиа!

Красные зарницы жгут иочиое иебо,—
Страшио в сиием иебе маленькой луие!
Господи! На счастье иль иа злое горе
Сердце мое тоже все в огие?

Больше я ие в силах ждать того, что будет...
Боже мой, как сладко дышат травы!
О, скорей бы зорю тьма иочиая скрыла!
Боже, как лукавы — мысли у меня...

Буду я счастливой,— я цветы посею,
Много их посею, всюду, где хочу!
Боже мой,— прости мие! Я сказать ие смею
То, иа что иадеюсь... иет, я промолчу...

Крепко зиойиым телом я к земле прииикла,
Не видиа и звездам в жаркой тьме ночной.
Кто там степью скачет на коне на белом?
Боже мой, о боже! Это — он, за мной?

Что ему скажу я, чем ему отвечу,
Если остановит он белого коия?
Господи, дай силу для приветиой речи,
Ласковому слову иаучи меия!

Он промчался мимо встречу злым зарницам.
Боже мой, о боже! Почему?
Господи, пошли скорее серафима
Белой, вещей птицей вслед ему!

Аитон заснул, открыв мохнатый рот. Ночная птнца, козодой, металась в застывшей тншнне над бесплодной степью, над черной сталью рекн; посвнстывалн мягкне крылья, точно шелк, когда его гладнт ветер. Ночная тоска маяла душу, возбуждая тревогу разиых желанний,— хотелось петь, говорнть, ндтн куда-то, прнкоснуться к жнвому, хотя бы собаку погладнть нлн, поймав мышь, ласково сжать в горстн ее теплое, трепетное тело.

Я не шевелнлся, боясь нспугать старуху,— сндя у иог больной, она все тнхонько покачнвалась, но вдруг, согнувшнсь пополам, стала неподвнжна, точно в ией сломалось что-то. Непрерывио гуделн басовые струны, время от временн девушка подсказывала нм непонятные слова. Однночество, неисчерпаемое, как море, обняло степь, потопнло ее, в сердце росла едкая жалость к земле, ко всему, что иа ней. По сннeй твердн иебес ослепительно черкнула серебряиая звезда.

Дрожащим от напряження голосом девушка вскрнчала знакомые слова:

— Оэ, Мара...

Это ударнло меия в сердце такой острой тоскою, что я вскочнл на ногн, подошел к больной и встал рядом, заглядывая в лнцо ее. Она не нспугалась, а только кнвнула мне головою, ие переставая петь; в ямах под ее бровямн блестелн глаза. В этом мерцающем блеске была неведомая, ие нспытанная мною сила, точно магнит прнтягнвал сердце мое,— еслн б степь была зрячей, она, наверное, смотрела бы иа человека вот так же,— медленно, с тихой и почтн сладкой болью высасывая его сердце.

Слова песин сталн еще более убедительнымн, насытилнсь щемящей грустью, бнлн по душе мягкнмн ударамн. Кружилась белая кнсть правой рукн, связывая меня иевндимой, крепкой интью; обессиленный, я все склонялся к плечу девушкн, а когда она перестала играть, поправляя волосы, упавшне на глаза ей, я взял ее руку н поцеловал.

И это ие испугало ее,— оиа даже улыбиулась полусоиио, как будто нздалн вндя меня, потом бровн ее инзко опустнлись и прямо в лнцо мне она густо вздохнула:

— Оэ, Мара-а...

— Оо-о,— угрюмо запелн струны на терцию ниже голоса.

Мучнтельио было слушать эту песню, а глаза девушки иеотрывно смотрели в лнцо мне, было в них что-то повелительное; следя за иимн, я боялся мигнуть, и казалось, что в душу мою переливается темное безумне этнх глаз.

Помню, мие хотелось сесть на землю у ног больной, зажмуриться н сндеть всю ночь, день, годы. Непонятная тяжесть иавалнвалась на меня, прнгнбая к земле; сердце бнлось медленио, снльнымн толчками, точио весь шероховатый шар земиой вкатывался иа спнну мне. Покачнваясь от мягкнх толчков в такт песне, прнжавшнсь плечом к плечу девушкн, не отрывая глаз от ее лица, я, кажется, тоже что-то пел, говорнл, а ее голос звучал все снльнее, растекаясь в ночной воспринмчнвой тншнне. И дьявольское однообразие песнн жутко сливалось в единый стон с пустотой ннщей землн.

Вот и я тихо обезумел и уж навсегда останусь таким, буду ходить по земле, немой бродяга, слушать ее грустные песнн, мучнться нмн, не умея ответнть ее стонам своей песней, не имея снл сказать свое слово.

Наконец девушка замолчала, глубоко вздохнув; что-то горячее коснулось моей щекн: это она гладнла меня ладонью по лнцу, как слепая.

Я покорио подчниялся ее ласке; мне чуднлось, что больная что-то вспомнналет, хотелось, чтоб она вспомнила, н я ждал, что вот еще немного — к ней вернется разум.

Тележка заскрнпела, подвннулась назад; тотчас вскочнла на иогн старуха, крнкнула н метнулась ко мие, взмахивая рукамн, точно отгоияя птнцу.

Девушка засмеялась.

— Да не бойтесь вы,— сказал я старухе, она снова крнкиула и, прыгая предо мной, точно курнца, стала звать:

— Аитоиэ, Аитоиэ...

Работинка разбуднл я ам. Он встал на ногн, грубо сказал что-то старухе, прервав ее гневное шипенне, потом спросил меня обиженно:

— Что же мне — ие спать нз-за тебя?

И ткиул рукой в степь, добавнв:

— Ступай, уходн...

Я пытался угомоинть его гиев, но он взял палку н, тыкая ею в землю под ногн мне, решительио лез на

меня, заставляя пятиться перед ним. Очень хотелось ударить его по тупой голове,— он уже дважды и больно ткнул палкой в ступню моей ноги, заставив меня танцевать.

— Слушай,— сказал я ему, когда он вытеснил меня из шалаша,— черт с тобой, я уйду. Только ты расскажи — что она пела.

Сначала я просил грубо, потом униженно, как нищий; он мычал, ругался, кривил пустое лицо, стараясь сделать его грозным, но наконец что-то рассмешило его в моих словах, и, смеясь, он сказал:

— А ты тоже сумасшедший!

Девушка снова пела тихонько:

— Оэ, Мара...

На темном ее лице лежали медные полоски лунного света...

Антон, стоя против меня грудь с грудью, объяснял, усмехаясь:

— Пришел под окно к девице разбойник и говорит: «Ой, Мара, значит — Марина,— скоро я умру, полюби меня». Больше ничего! Уходи ты, сделай милость! Нехорошо беспокоить людей. Что еще? Я же сказал: принес он ей награбленное и просит — полюби, я хоть старик... вот,— кричат меня! Иди...

Я пошел берегом реки против течения; на плотине журчала вода, рассказывая серебряную сказку, надсадно звучали струны, плыла в безмолвии ночи суровая и жалобная песня.

Ой, Мара!
  К тебе под оконце
Пришел я недаром сегодня,
Взгляни на меня, мое солнце,
Я дам тебе, радость господня,
  Монисто и талеры, Мара!
Ой, Мара!
  Пусть красные шрамы
Лицо мое старое режут,—
Верь — старые любят упрямо
И знают, как женщину нежить,
  Поверь сердцу старому, Мара!
Ой, Мара!
  Ты знаешь,— быть может,
Бог дал эту ночь мне последней.
А завтра меня уничтожит,—
Так пусть отслужу я обедню
  Святой красоте твоей, Мара!..
Ой, Мара!

Двое суток бродил я по степи вокруг мельницы,— нестерпимо хотелось послушать еще раз песни девушки. Подходил близко, смотрел издали на камышовую крышу, седую от дождей, на сухое колесо и реку, подмывающую камни,— на мельнице было тихо и мертво и днем и по ночам.

Уходил в степь верст за десять и дальше, потом — снова возвращался, видел, как по двору шагает Антон с трубкой в зубах, а у ворот в тени лежат собаки.

Ни старуху, ни девушку я не видал больше, точно они в землю ушли.

— Оэ, Мара!..

Вероятно — давно уже умерла девица...

ВЕСЕЛЬЧАК

В зеленоватую воду моря брошена — как желтый лоскут атласа — маленькая, песчаная отмель; перед нею — на юг — безбрежная, стеклянная гладь, сзади нее — полоса ослепительно светлой воды, дальше — низенькие, медные холмы берега, на холмах убогая поросль каких-то безымянных прутьев, а еще дальше, среди горячих песков,— грязные пятна строений рыбного завода.

День такой яркий, что даже отсюда, с отмели, видно, как там, за версту, на холмах, сверкает серебряными искрами рыбья чешуя.

Жарко — точно в бане; чайки, разморенные зноем, похожи на куриц; они бродят по отмели, раскрыв клювы, лениво распустив кривые крылья, и лишь изредка хрипло вскрикивают, задыхаясь. Едва слышно шумит и плещется вода, облизывая отмель низенькими, в четверть аршина, волнишками.

Тихо, точно после великого несчастия, тихо и пусто.

Изнывая от жары, на влажном песке растянулся, закрыв белесые глаза, сергачский человек Баринов, он ворчит, дремотно поучая меня:

— В думах моих я все земли прошел, все моря переплыл; в думах моих я все грехи изведал...

Я слушаю и не верю ему,— он человек робкий, на людях ведет себя подхалимом, а когда говорит с приказчиком завода, то у него дрожат ноги и голос ласково взвизгивает. Он мужчина ленивый, как буйвол, неустанно рассуждающий и чрезвычайно волосат; его плоское, курносое лицо — в шерстяной маске песочного цвета, из широких, точно у верблюда, ноздрей торчат рыжие шерстинки, из ушей — тоже, голая, медная от загара грудь заросла, как у медведя, даже на суставах пальцев растут густые кустики волос. Ноги у него кривые, портновские, руки — длинны и толсты, как ноги; ему, должно быть, очень удобно ходить на четвереньках.

Но это очень добродушный, очень смирный зверь; когда товарищи бьют его за лень и ротозейство, он, перекатываясь бочонком под ногами у них, только просит, не сердясь и не жалуясь:

— Да будя, братцы, будя! Ну, побили, ну и ладно...

Его лысая голова туго повязана красным; издали кажется, что череп его лишен кожи.

— А в жизни я — пустой человек,— справедливо говорит он, не интересуясь, слушаю ли я его.— Пустой, как бубен, ударят — отвечаю, не трогают — молчу...

Он как будто бредит, я тоже в полусне. Над нами очень синее небо, вокруг — зеленоватое море, как будто и под нами небо. А мы, на атласном куске отмели, висим в бездонной пустоте, точно на самолете-ковре.

Но ковер-самолет неподвижен. И в душе тоже все неподвижно.

Версты за полторы впереди такая же отмель, как наша; ее было бы не видно в массе расплавленного, горячо сверкающего стекла, но по ней ходит темная фигура, будто плавая в воздухе. Это — наш третий товарищ, какой-то восточный человек, перс или армянин из Персии, его зовут Изет. По-русски он почти

не говорит, но прекрасно понимает все, что ему приказывают,— очень удобный человек.

Нас, троих, послали с завода на отмель, чтобы снять с нее оставленные утром снасти, но Баринову и мне лень было ехать так далеко по жаре, мы залегли на ближайшую к берегу мель, а Изету приказали ехать за снастью; послушный, как смирная лошадь, он поехал.

— Мне сорок пять годов минуло,— бредит Баринов, потягиваясь,— я столько всякой всячины видал, что иному губернатору и то хватит. А спроси меня — к чему все? Так я тебе этого не скажу. Томаша одна. А ты говоришь — народ...

Не на чем остановиться глазу в этой сверкающей пустоте; мозг растекается в ней, точно клок белой пены на теплой воде моря. И думать не о чем.

Баринов? То, что он говорит, я уже слышал от него и от других. Все эти размышления о жизни только мертвят ее, вызывая в сердце досаду и тоску.

Если, закрыв глаза, пролежать несколько минут неподвижно, то в каждом мускуле тела, в каждой точке его, начинаешь чувствовать неприятное расширение, таяние и как будто погружаешься в горячую, бездонную пропасть. Так, должно быть, чувствует себя маленький кусочек крутого теста, брошенный в котел нагретой воды.

Надув седые щеки, противно кричит старая чайка, две подруги косятся на нее злыми глазами и, тяжело расправив крылья, медленно летят в море,— их отражения влачатся по воде, как два лоскута шелка.

Там, в воздухе, над водою возится толстый, круглый Изет, подталкивая к лодке бочку.

— У нас, на селе, был писарь Колобашкин,— рассказывает Баринов сам себе,— добрый человек, хоша заливной пьяница. Так он, бывало, говорил: «Надобно жить всем одинаково. Порите, говорит, мужики, друг друга чаще, когда все перепоретесь и будет вам друг дружку стыдно, начнете вы дружнее жить. Надо, говорит, всем в одном жить, хоть в стыде, лишь бы единодушно. А когда всякая крупинка сама по себе — каши не сваришь». Гляди-ка, кто идет?

Он смотрит на берег, приложив ко лбу мохнатую лапу,— вдоль берега ходит, качается у самой воды какой-то человек и гасит ногами искры рыбьей чешуи.

— Броду ищет. Крикни ему, правее бы шел, там гряда.

Я молчу, не хочется кричать; молчит и Баринов. Становится все жарче; теплый, крепко соленый воздух тяжел и влажен, трудно дышать. На губах — соль, хочется пить, а баклажка с простой водою в лодке. В море, у самой отмели, поблескивают серебряные сельди, они кажутся отражениями бескрылых птиц, плавающих в воздухе, невольно смотришь вверх, где, в синем зное, остановилось и плавится солнце.

Человек нашел путь к нам — песчаную гриву, намытую весенними бурями; эта грива изогнулась, как французское S, ее нижний конец — островок, на котором мы лежим. В самом низком месте воды над нею — только под мышки.

— Не наш,— говорит Баринов.

Я верю ему, зрение у него морское.

Человек вошел в воду и медленно двигается вперед, подняв локти, уходя все глубже с каждым шагом, смешно расталкивая воду животом.

— Персюк,— решает Баринов.

Я вижу над водой темное, бритое лицо, серые, коротко подстриженные усы, белые зубы, обнаженные улыбкой. На голове человека круглая валяная шапка, похожая на глиняный горшок, на плече у него висят синие штаны. Куртка тоже синяя, а под нею белая рубаха, раскрытая на груди. Вода становится ниже, из нее вырастают медные ноги, блестя на солнце.

— Здырясты! — еще издали кричит он, многократно кивая круглой головою.

— Веселый,— заметил Баринов, улыбаясь.— Персюки — все эдакие, веселый народ, добряк. Глупые довольно, глупее ребенка. Обмануть персюка — легче всего!

Человек вышел на мель, надел штаны, сдвинул шапку на затылок, обнаружив синий бритый лоб, и пошел к нам, вскрикивая:

— Здырясты, здырясты!

Он сухой, тощий, его черное лицо сплошь исписано мелкими морщинами, среди них весело сверкают в синеватых белках золотистые зрачки, глаза большие, миндалинами. Молодой он, должно быть, был очень красив. Гибко подогнув длинные ноги, он ловко присел на корточки, спрашивая:

— Табака иесть?

Вынул из-за пазухи пахучий кисет, черную трубку и протянул Баринову.

Тот благосклонно принял угощение и, туго набивая трубку волокнистым, влажным табаком, заговорил:

— Зачем пришла перса?

Человек посмотрел, как Баринов тискает табак большим пальцем, усмехнулся и отнял у него трубку.

— Не будит кури!

Выковырял ком табаку и, снова набив трубку, подал Баринову.

— Так будит.

— Перса работа нанялась?

— Работа,— кивнул головою гость.— Работа будит — чик!

— Я говорю — веселый,— сказал Баринов, тоже усмехаясь.

А перс посмотрел в море, где Изет возился у лодки, и, протянув туда руку, спросил:

— Это — какой?

— Ваша. вроде тебя.

— Наша,— не то согласился, не то переспросил перс.

— Изет зовут.

Перс отрицательно мотнул головой.

— Ему зовут Хасан.

— Ну, как хошь.

— Дыруг моя...

— Друг? Так.

Баринов усердно и неумело курил, заглатывая целые облака дыма и выпуская их длинной, синей струею. Перс, улыбаясь, смотрел на него, тихонько напевал странную песню и зачем-то сгибал и разгибал правую руку. Тишина вокруг все уплотнялась.

— Сладкий табак, а крепок,— пробормотал Баринов, глядя на меня осовелыми глазами.— Индо в голову ударило...

Он опрокинулся на спину и закрыл глаза.

Несколько минут перс сидел неподвижно, точно уснув, только в его прищуренных глазах светились золотые искорки. Потом он сморщился, крепко вытер лицо свое ладонями, сложив их в пригоршни, посмотрел на ладони, точно в книгу, пошевелил губами и снова вытер лицо.

И вдруг, закииув голову, выгнув кадык, он завыл иегромко, но очень высоким, почти женским голосом:

— Ай, яй, яй-ай-н!

— Эк тебя прорвало,— дремотно сказал Баринов, перевернувшись спиной к солицу, а перс, обняв колени руками, покачивался и выл, наполняя тишину тоиким воплем.

Там, на отмели, Изет, стоя по коленн в воде, сталкивал лодку с песка,— когда перс завыл, он взмахнул рукою н, выпрямившись, стал из-под локтя смотреть в нашу сторону.

Перс толкнул меня плечом, говоря:

— Слышаит!

И, оскалив зубы, весело добавил:

— Ему будет — чик!

— Что такое чнк?

— Такой,— сказал перс, закатнл глаза под лоб и всхрапнул, как лошадь.

Это было смешио.

Изет постоял, посмотрел, столкнул лодку, ие торопясь влез в нее с кормы,— стало видно, как лодка закачалась на гладкой воде, иеотделнмой от воздуха.

А перс, прнщурив глаза, снова тнхонько запел воющую песнь; пел он горлом, с неожндаиными повышеннями до внзга, странио захлебываясь звуком, капризно прерывая его леннвое течение. Эта песня еще более усугубляла знойиую тоску пустого дня; ничему не мешая, ничего не будя, звукн н слова, чуждые мие, плыли, как стая мелкой рыбы. Казалось, что песия давно уже звучит в тншиие, всегда звучала в ней,— мелодия ее была неуловнма н ускользала нз памятн, не поддаваясь усилиям схватнть ее. В светлой пустоте дергалась лодка, точио неуклюжая рыба с тонкнми длнннымн плавинкамн; Изет едва греб, медлеино опуская и поднимая весла.

— Что ты поешь, о чем? — спросил я перса, когда мие надоело слушать его вой.

Он тотчас же замолчал, оскалил зубы н охотио начал рассказывать:

— Такой веселы пэсня — тасниф, наша зовут, тасниф!

Но слов у него ие хватнло, он закрыл глаза, закачался и снова начал вопить:

Ай-яй-яй-ай-и!
Минэ иады иэхать Фарсиста-аи!

Прервал пение, подмнгнул мне н заговорнл:

— Нады, не нады, кто знайт? Алла знайт, человечка иэт знайт! Молодой баба остался дома, другой муж взял — ие взял — кто зиайт? Скажи, добрый Джнн, который моя друг, жены новый муж? Так поем тасиф. Шайтан шутит — человечка плачнт...

Бариов пошевелнлся и сказал осуждающим тоном:

— У иих все песин про баб, больше ничего не зиают, псы...

А перс все говорил, весело н бойко поблескивая глазамн, путая иезнакомые мне слова с изломаиными русскимн.

— Нады иэхать Фарснстаи,— не нады иэхать? Буду пнть виио, буду обмануть дыруга н все люди,— такой тасниф! Дома человечка — умны, дорога — глупы!

Он засмеялся, крепко потирая рукн, и вдруг, потемнев, задумался, замер, глядя в сверкающее зеркало моря. И я задумался, слагая его смешные слова в незатейливую песню.

Я хочу делать хорошие дела...
Ах, иадо ехать в Фарсистан!
Скажи, мой добрый Джии,
Сколько беды и зла
Готовит мне шайтаи?

У меня молодая жена...
Люблю ее мягкие колени!
А мне надо ехать в Фарсистаи!
Скажи, добрый Джин,
С кем жена мне измеиит?

У меня есть два друга,—
Скучио мие без иих станет!
Мне ведь надо ехать в Фарснстаи!
Скажи, добрый Джин,—
Который друг меня обманет?

Ах, я человек смирный,
А дорога мне иезнакома...
Как тут ехать в Фарсистаи?
Скажи, добрый Джин,—
Не умиее ли буду я дома?

А не послать ли к шайтану
Дела, друзей и жену?
Не надо ехать в Фарсистаи!
Лучше я сам всех обману,
А потом — напьюсь пьяный...

Лодка подвннулась блнзко к мелн, я вижу круглое, красное лнцо угрюмого Изета, он сидит прямо, гребет, не сгибая спнны. Перс гнбко встал на ноги, пощупал рукою пазуху и легко пошел навстречу лодке.

— Ну, надо и нам садиться да ехать,— сказал Барннов, потягиваясь так, что у него захрустелн сухожнлия.— А то погодим, пускай дружки поговорят...

Изет выпрыгнул нз лодкн в воду и пошел на берег, изогнувшнсь, спрятав руки за спнну, а перс вдруг прнсел на корточки. Тогда Изет, остановясь на секунду, поправил шапку, провел ладонью по лицу н, стряхнув с нее пот, тоже смешно подогнул колени.

— Эй, эй, дьяволы! — испугаино заорал Бариов, вскакивая иа ногн, н торопливо бросил мне:

— Драться хотят, негодяи! Эй, вы,— нельзя! Они ведь ножамн!

Да, в руках друзей, точио живые сельдн, сверкали длнниые, тонкие ножн. Присев на корточки, напомниая тетеревей на току, онн переступалн с ногн иа ногу, подпрыгнвалн, а Баринов, оглядываясь, тревожно бормотал:

— Эх, палки иет — палкой бы нх по башкам.

Вдруг перс быстро сунулся всем телом вперед, а Изет крякнул, размахнул руками н упал на спиму.

— Куда? Зарежут! — крикнул Баринов, когда я побежал к лодке.

Стоя иа колеиях, перс совал левой рукою нож в песок — суиет, вытащит и, вытерев лезвне полою куртки, снова сунет.

— Что ты сделал? — спроснл я.

Он ответил, оскалив зубы, гладя нож пальцами:

— Мы ему, собаку, давио нскал.

По правой руке его нз-под рукава стекалн алые струйкн кровн, кровь тяжелыми каплями падала на песок и исчезала, оставляя за собою ржавые пятна.

Изет лежал на спиие, спустнв ногн в воду, плотно прнжавшись щекою к влажному песку. Лнцо у иего побурело, тусклые глаза пристально смотрелн на разжатый кулак откииутой руки н на иож около нее. Пальцы другой руки вцепнлнсь в песок, а толстые губы сердито надуты.

— Серсэ нашол,— сказал перс, подмигнув мне.— Чнк!

Баринов осторожио, стороной, подобрался к лодке, влез в нее и закричал мне:

— Едем, черт!

Когда я, столкиув лодку, сел на весла, он, перевалнвшнсь на корму, начал злобно орать:

— Погоди, свинья, вот мы сейчас тебя, злодея...

Перс, стоя на колеиях, весело кивал нам головой и вдруг звонко крикнул:

— Прочай!

Стянул с плеч куртку, рубаху н обнаружил длнннную руку, красную по плечо,— она так ярко загорелась на солнце, точно была выкована из металла цвета крови.

А все кругом — снова как сон...

СОДЕРЖАНИЕ

Рождение человека 3
Ледоход 6
Женщина 13
Едут... 23
Ералаш 24
Светло-серое с голубым 28
Книга 29
Как сложили песню 32
Птичий грех 34
Гривенник 35
Счастье 37
Клоун 38
Зрители 40
Тимка 43
«Страсти-Мордасти» 49
На Чангуле 54
Весельчак 59

Горький М.

Г71 Рассказы.— М.: Худож. лит., 1982.—63 с.

В книгу вошли избранные рассказы из цикла «По Руси» (1912—1917): «Рождение человека», «Ледоход», «Как сложили песню», «Едут...», «Зрители» и другие.

Г 4702010200-406 / 028(01)-82 без объявл. Р2

Алексей Максимович
Горький

РАССКАЗЫ

Редактор
Ю. Б. Розенблюм

Художестаенный редактор
В. Серебрякоа

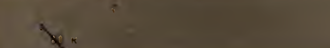
Техннческнй редактор
Л. Платоновв

Корректоры
М. Макарова н Т. Герасимова

ИБ № 3308
Сдано в набор 19.03.82. Подпнсано к печатн 15.04.82. Формат $60\times90^{1}/_{8}$ Бумагв тнпогр. № 2. Гарннтура «Латннсквя». Печать глубокая. 8 Усл. печ. л. 9 Усл. кр.-отт. 9,8 Уч.-изд. л. Тираж 3 500 000 экз (6-й заaод 2 500 001—3 000 000) Изд. № 1—989.
Заказ 760 Цена 80 к.

Орденв Трудового Красного Знаменн нздательство «Художественнвя лнтература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ноao-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знаменн Чеховскнй полнграфнческнй комбннат ВО «Союзполнграфпром» Государственного комнтета СССР по делам издательства, полнграфнн и кннжной торговлн
г. Чехов Москоаской областн



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982